

Ольга Карпович

Поцелуй  
Осени



# Ольга Юрьевна Карпович

## Поцелуй осени

*Текст предоставлен правообладателем*

### **Аннотация**

Ее отвага и бесстрашие стали легендой в журналистских кругах. Лика казалась циничной, уверенной в себе, однако под жесткой оболочкой скрывалась маленькая девочка, воспитанная бабкой, у которой не забалуешь. Лика бежит от любви, не решаясь до конца довериться мужчине... Но однажды, оставшись одна, она вспоминает о том, кто хотел заботиться о ней пятнадцать лет назад, и понимает, что это единственный человек, который ее любил. Вот только откликнется ли он на призыв теперь, когда потеряно столько времени?

# Содержание

Вступление	4
Часть первая	15
1	16
2	22
3	32
4	41
5	45
6	57
7	69
8	82
9	91
Конец ознакомительного фрагмента.	103

# Ольга Карпович

## Поцелуй Осени

*Когда ты заглядываешь в глаза бездны, бездна  
отражается в тебе.*

*Ф. Ницше*

### Вступление

#### 2001 год

Белая пушинка сорвалась с ветки тополя и, подгоняемая легким ветром, полетела туда, где, невидимые за цветущими деревьями, мчались по широкой магистрали машины. Весна раскрасила аллеи Центрального парка яркими красками, осыпала ветви деревьев белыми и розовыми цветами, наполнила воздух нежным ароматом. Утреннее солнце играло и искрилось на стеклах выглядывавшего из зелени шпиля отеля «Гранд Астория». Где-то за пышными кустами звенели ребячьи голоса на одной из детских площадок. Процокали по дорожке две каурые лошади, запряженные в двуколку образца начала прошлого века. Над подстриженными газонами смешивались запахи цветов и бензина.

В конце аллеи показалась одинокая женская фигура. Невысокая миниатюрная брюнетка в светло-зеленом легком

платье и босоножках медленно шла по чисто выметенной дорожке, чуть помахивая на ходу зажатой в руке газетой. Газету она только что купила при входе в парк у продающего прессу молодого бойкого афроамериканца. Несмотря на проведенные здесь, в Америке, четыре года, говорила она с русским акцентом:

– Доброе утро, мне «Нью-Йорк таймс», пожалуйста.

Разворачивать газету она не спешила, предвкушая и оттягивая ожидающее ее удовольствие.

Женщина подошла к спрятанной под столетним раскидистым платаном скамейке, присела, откинулась на спинку и сдвинула на лоб темные очки. Теперь можно было разглядеть ее лицо – резко очерченные скулы, зеленые миндалевидные глаза, яркие, решительно сжатые губы, едва заметная белая галочка шрама на левом виске...

Ее приподнятое настроение объяснялось тем, что в газете она ожидала увидеть большую статью, подписанную ее именем. Последние несколько месяцев, помимо основной работы на телевидении, она увлеченно занималась специальным проектом, задуманным ею вместе со старым приятелем и по совместительству любовником Пирсом Джонсоном. Пирс, редактор одного из отделов «Нью-Йорк таймс», предложил ей сделать серию очерков о жизни нелегальных эмигрантов, стекающихся в Нью-Йорк со всего мира. Журналистка взялась за дело с энтузиазмом, скиталась по трущобам, гонялась за прыткими бангладешцами, пыталась разговорить затрав-

ленно моргавших из-под темных покрывал восточных женщин с завернутыми в тряпье младенцами на руках, а как-то ночью даже оказывала первую помощь жертве поножовщины в одном из негритянских кварталов.

Затем, вдвоем с Пирсом, они ночи напролет просиживали над собранным ею материалом, срывали голоса, споря, как лучше скомпоновать статьи, в каком порядке запускать их в печать. К утру глаза начинали слезиться от напряжения, в желудке жгло от неизвестно какой по счету порции крепкого кофе, кончики пальцев желтели от никотина. Но дело было сделано, материал доведен до ума, вечно критикующий Пирс повержен ее неумолимой логикой, и она, выпотрошенная, опустошенная, с довольной улыбкой поднималась из-за стола и потягивалась, глядя в окно на занимающийся над никогда не спящим городом день. Пирс становился рядом, обхватывал своей огромной ручищей ее плечи и говорил с досадой и невольным восхищением:

– Черт, ты опять меня сделала, детка!

Это ей больше всего и нравилось в их отношениях – дух товарищества, ощущение сплоченности, понимания, единомыслия. Не любовный лепет, а крепкий союз двух профессионалов, занятых общим делом. Пирс был одним из немногих мужчин в ее жизни, которому не приходилось объяснять, почему журналистке бывает необходимо сорваться среди ночи по звонку от шефа. Он не закатывал ей сцен ревности, если она пропадала где-то несколько недель со специальным

заданием, не вздыхал о недополученном внимании и ласке, не претендовал на главенствующую роль в ее жизни. Может, поэтому их роман, если, конечно, можно было так назвать эти близкие полудружеские полупрофессиональные отношения, продолжался уже несколько лет.

И вот сегодня наконец должен был выйти в печать первый очерк из уже полностью готовой серии. Плод многомесячного труда, который, по словам Пирса, должен был в одночасье превратить ее из пусть известного в своих кругах и уважаемого, но все же рядового сотрудника в звезду мировой журналистики. По такому случаю она даже сменила обычную «униформу» – джинсы, майка, бейсболка – на платье и туфли, чего с ней не бывало с последнего официального приема в российском посольстве, на котором она присутствовала по долгу службы. Кроме того, дома, на рабочем столе, белело подписанное заявление на отпуск, а в прихожей подпирал дверь упакованный чемодан. Теперь оставалось лишь дожидаться Пирса, отметить ее триумф обедом в одном из самых модных ресторанов, а затем подхватить багаж и отправиться в аэропорт, откуда блестящий, словно глазированный, белый «Боинг» унесет их к морю и пальмам. И в ближайшие две недели она клянется не включать телевизор, игнорировать телефон, а лишь бездумно валяться на пляже, прихлебывать коктейли, носить открытые платья, словом, хотя бы попытаться делать все то, от чего получают сказочное удовольствие все другие известные ей женщины.

Журналистка откинула голову, полюбовалась солнечными бликами, скачущими по темно-зеленой глади лежавшего по другую сторону аллеи пруда, и наконец развернула газету. Быстро пробежала заголовки, мгновенно выхватила глазами свой – «Родина взаймы», открыла нужную страницу. Как профессионал оценила верстку, расположение фотографий, удовлетворенно кивнула и лишь затем, чуть подсмеиваясь над собственным тщеславием, взглянула вниз, туда, где должны были стоять ее имя и фамилия. Однако...

Она сдвинула темные брови, поднесла газету ближе к лицу, вдохнув запах свежей типографской краски, и, словно не веря своим глазам, прочитала вслух:

– Пирс Джонсон...

Но как же это? Может быть, ошибка, перепутали верстальщики? Она вернулась к первой полосе, перечитала анонсы размещенных в номере статей. Нет, и здесь тоже стояла фамилия ее бессменного приятеля и любовника. Она так увлеклась, что не заметила, как он сам, собственной персоной, появился в конце аллеи, огляделся и направился к ней, широко улыбаясь. Бесшумно подошел к скамейке, склонился к ее плечу и пропел:

– Тебя можно поздравить?

Она вздрогнула, подняла голову и уставилась прямо в его холеное, гладко выбритое лицо. Удивительно, почему-то его цветущий вид сегодня показался ей отвратительным. Эти прозрачно-голубые глаза на покрытом золотистым зага-

ром лице. Он ведь прекрасно знает, что загар так красиво оттеняет их, и не забывает раз в неделю забежать в солярий после работы. Аккуратно подстриженные темные волосы, чуть тронутые сединой, ровные блестящие зубы. Сколько, интересно, он платит своему стоматологу за эту обезоруживающую, вызывающую доверие улыбку?

– Кажется, это я должна тебя поздравить, – ядовито отметила она, развернув перед Пирсом статью.

– Ах, это... – протянул он, слегка поморщившись. – Ну, детка, надеюсь, ты не обиделась? Ты ведь должна понимать как профессионал, что у издательского бизнеса свои законы... На общем собрании решили, что такой социально значимый материал не может быть подписан фамилией русской журналистки. Поэтому я, как редактор отдела, вынужден был поставить свою фамилию. Детка, ты ведь не станешь отрицать, что я тоже приложил много усилий в работе над этими очерками...

Не прерывая своего монолога, он уселся с ней рядом и теперь тискал и мял крупными пальцами ее ладонь.

– У меня имя есть, – резко прервала его она.

– Что? – опешил тот. – А, ну извини, если тебе не нравится. Ок, Лика. Так вот, Лика, если ты посмотришь на последнюю страницу, в графе «Над номером работали», то ты увидишь там свою фамилию. И конечно, я непременно упомяну о том, какой огромный вклад ты внесла...

Его спокойный, рассудительный голос раздражающе дей-

ствовал на Лику. Она почувствовала пульсацию в висках – верный признак начинающейся тяжелой мигрени, преследовавшей ее с детства. Она тупо смотрела на скользящую по ее коленям широкую ладонь, на крупный, словно расплющенный, ноготь на большом пальце и удивлялась, как она раньше не замечала, какие у Пирса некрасивые, грубые руки. В первые минуты разочарование, потрясение, испытанные ею, были настолько сильными, что разум будто «завис», отказался выдать положенную эмоциональную реакцию. Она лишь пыталась как-то понять, уяснить для себя, что произошло, не давая случившемуся никакой оценки. Однако под действием монотонного голоса ее друга-приятеля она начала постепенно приходить в себя, просыпаться от навалившегося отупляющего бессилия. Где-то внутри задрожало, забилось, и Лика поспешила раззадорить саму себя, вызвать гнев, ярость, выплеснуться наружу, не позволяя проявиться самому потаенному, глубокому. Она с силой выдернула ладонь из его руки, вскочила на ноги, подобралась, как кошка перед прыжком, и выкрикнула:

– Ты можешь кому угодно плести эти бредни, кроме меня! Я, как ты верно заметил, профессионал и кое-что смыслю в издательском деле. В частности, я неплохо знаю, что такое плагиат и как это карается по закону.

– Ты что же, угрожаешь мне? – недоверчиво протянул Пирс, вскинув свои льдистые глаза на стоящую перед ним женщину. – Думаешь обратиться в суд?

– Думаю! – яростно подтвердила Лика. – Думаю, мне будет что рассказать адвокату.

– Как хочешь, – развел руками Пирс. – М-да... Никак не ожидал, что ты такая...

– Какая? – запальчиво вскинулась Лика.

– Недальновидная! – пояснил он. – Ведь никакого подписанного договора с редакцией у тебя нет, все строилось на нашей устной договоренности. Я считал, мы понимаем друг друга. Я, человек с именем в нью-йоркской прессе, по доброте душевной помогаю тебе, никому не известной русской журналистке, продвинуться в карьере... Конечно, учитывая и свои интересы при этом... А теперь оказывается, что ты считаешь меня каким-то подлым плагиатором. Думаешь, я за твой счет решил прибавить себе популярности...

– А что? Разве это не так? Кто собрал весь материал? Я! Кто написал все эти тексты? Тоже я. Ты только мешал мне своими дурацкими советами и рекомендациями. Я уйму времени потеряла, объясняя тебе, что и как. А теперь ты взял и просто украл мои статьи, как последний...

– Ну, дорогая моя, – прогудел Пирс, поднимаясь со скамейки, – в таком тоне я вообще разговаривать не желаю. Считаешь себя обиженной – пожалуйста, поступай как знаешь. Но имей в виду, в твоих же интересах не начинать войну. Вспомни, кто ты и кто я, подумай, чье слово будет иметь больший вес. Знаешь, издательский мир очень тесен, испортить себе репутацию легко. А тебе ведь еще работать тут...

Задохнувшись от этакой наглости, Лика резко отвернулась, уставилась на подернувшуюся легкой рябью поверхность воды, старалась дышать медленно и размеренно, чтобы успокоить, унять душившее напряжение. Пирс же воспринял ее молчание по-своему.

– Вот и умница. Сообразительная девочка. – Он положил руку ей на плечо. – Давай больше не будем ругаться. Тем более и времени нет. Во сколько у нас самолет?

Лика резко дернулась, сбросила его ладонь с плеча и яростно выдохнула:

– Пошел в задницу, урод! Не смей больше звонить мне, никогда!

Пирс на мгновение опешил, но довольно быстро овладел собой, ослабился все в той же белоснежно-рекламной улыбке.

– Как скажешь, детка. Надо признать, я не много теряю. Знаешь ли, роман с неврастеничкой, по самую крышку набитой комплексами, довольно скучное дело.

Лика поняла, что еще секунда, и она бросится на него, расцарапает ногтями эту лошеную самодовольную рожу. Она шагнула в сторону и быстро пошла, почти побежала прочь по аллее.

К щекам прилила кровь, в груди колотилось невысказанное бешенство, и Лика не спешила его унять. Она знала, что на смену гневу придет опустошение, боль, отчаяние, и не хотела позволить этого. Нет, уж лучше злость – это,

по крайней мере, конструктивное чувство. Она неслась вперед не разбирая дороги, провожаемая удивленными взглядами туристов с фотоаппаратами на шеях. В конце концов неловко ступила, попала ногой в выбоину на асфальте, тонкий каблук подломился, и Лика, вскрикнув, едва не упала, в последнюю секунду ухватившись за ствол дерева.

«Вырядилась, как последняя дура!» – выругала она себя и, прихрамывая, заковыляла в сторону, опустилась на аккуратно подстриженную траву газона, привалившись спиной к шершавой коре дерева. Где-то вдалеке шумели машины, спешил и рвался куда-то неумемный огромный город. Она же неожиданно оказалась вычеркнутой из его жизни, оторванной, обособленной, словно накрытой стеклянным колпаком. Ярость испарилась. Лика наклонилась, потеряла саднившую лодыжку, прикусила губу.

Нет, плакать она не будет, не в ее правилах. Существуют, знаете ли, на свете такие женщины, которые могут позволить себе плакать. Сама нежность, беззащитность, глаза их, наполнившись слезами, делаются еще прозрачнее и прекраснее, и любой мужчина, оказавшийся поблизости от подобной плачущей нимфы, в момент чувствует себя доблестным рыцарем и спешит на помощь. Да, есть такие женщины, она же не из их числа. В ее жизни слезы ей никогда не помогали, ни в ком не пробудили сочувствия, и с годами она разучилась плакать.

Лика с силой выдохнула, расправила плечи и поглядела

вперед, туда, где возвышались над зелеными кронами деревьев небоскребы. Забавная, однако, штука жизнь. Мчишься куда-то сломя голову, торопишься все успеть, ничего не упустить и вдруг оказываешься совсем одна в огромном, бешено кипящем городе. Впереди две пустые, ничем не заполненные недели, в телефонном справочнике две сотни чужих номеров, а на душе удивительно пусто и паршиво. Впрочем, один номер, по которому можно было бы позвонить сейчас, там все-таки есть. Один... Негусто! Прямо скажем, за долгую насыщенную жизнь ей не удалось обзавестись легионом близких друзей. Только одним. И этот единственно ценный номер она не набирала уже два года. И все-таки...

Лица нашарила в сумке мобильный телефон, нашла нужный номер, несколько секунд вслушивалась в протяжные гудки и наконец сказала в трубку:

– Привет, это я. Можешь сейчас приехать?

**Часть первая**  
**1964–1989**

# 1

Все так просто начиналось. Было детство в доме бабки – директора магазина, малообразованной, но крайне справедливой горгульи. Дед обретался там же, его звали Тынемогбы, как вариант Эйты. Дед был мирное существо, на рожон с директором продмага не лез, выражениями с ней не мерился, лечил вечерами свою контуженную на войне голову коньячком пять звездочек под толстенькое сальцо. Туда же, в их теплую обитель – директорши, военного летчика на пенсии и пятилетней девицы самого крутого нрава, – временами являлась мамахен, красивая, совсем молодая еще женщина, не устававшая проделывать путь через всю Москву на высоченных каблуках. Малолетнее чудовище, вне всякого сомнения, ждало свою болтающуюся непонятно где мамашу. То есть болталась-то она по вполне определенным территориям, а именно – по дачному участку своего нового муженька, придурка полного по призванию и художника-оформителя волею судеб. Директорша с летчиком знать про новоиспеченного зятя ничего не желали, и посему молодая семья вынуждена была ютиться на плохо отапливаемой даче, в то время как оппозиция заняла трехкомнатные апартаменты, в свое время выданные летчику за заслуги перед Родиной. Да, малолетнее чудовище могло часами таращиться из окна на аллею, прилегающую к дому, в ожидании прибытия сво-

ей непутовой мамыши, и даже спустя много лет, сидючи в самом центре Манхэттена на Серкл сквеа, она себе представляла, что вот такая же ива росла у них перед домом в Подмосковье. Так же томительно и сладко благоухала сирень, а в воздухе разливался ласковый полуденный зной, в бесконечной синеве неба таяли следы реактивных самолетов. И где-то вдалеке стучали каблуки – это мама, мама, мама приехала... Все это давно схлынуло и осталось в памяти мутным, тяжелым наваждением.

Лечь животом на широкий каменный подоконник, нос расплющить о пыльное стекло, прищуриться, пытаюсь разглядеть в слепящем глаза солнечном луче прохожих внизу, на бетонной дорожке. Вот проковыляла похожая на пингвина соседская бабка Сосничиха, прошмыгнул через двор Юрка, очень опасный рецидивист восьми с половиной лет, еще какой-то незнакомый мужик торопливо взбежал по ступенькам подъезда. За спиной раздавалась тяжелая поступь семейного главнокомандующего.

– Нинк, а мама приедет сегодня? – оборачивалась от окна Лика.

– Ах ты засранка, научил тебя старый леший на мою голову, какая я тебе Нинка, баба я тебе, баба. Ты что же это, очумела совсем, сидишь под форточкой раскрытой? Не болела давно? – разорялась баба Нинка, стаскивая девчонку с подоконника, и добавляла с суровой неодобрительно-

стью: – А шут ее знает, мамашу твою. Я ей не указчик.

И томительный душный день, день, наполненный ожиданием, тянулся дальше. Солнечным лучом полз по вытоптанному ковру детской, витыми стрелками передвигался по циферблату настенных часов, выстукивал невидимыми каблучками где-то внизу, под окнами. И худая низкорослая девочка в вечно съехавших на колени колготках бесцельно бродила по квартире, томясь ожиданием. Слонялась по двору, мимо несших свою бессменную вахту на лавке у подъезда древних бабок, смотрела на надувавшиеся парусами на ветру штопаные простыни, колыхавшиеся на протянутых между деревьями веревках. Уныло карабкалась на деревянную горку, отталкиваясь ногами, кружилась на хрипло скрипящих каруселях и ждала, ждала.

Мать приходила, Лика (бабка догадалась назвать ее Элеонора, заморское имя не прижилось, само собой трансформировалось в Лику, Личку, Ликусю) висла на материнской шее, обвивала всем своим тщедушным тельцем, поджимала ноги, держалась что есть мочи, в детской доверчивости своей надеясь, что сможет удержать возле себя мать как можно дольше. Но час свидания истекал слишком быстро; Лику, заходящуюся в беззвучном плаче, бессильно открывающую рот, как рыба, выброшенная на берег, оттаскивали от покрасневшей матери, директорша быстро сворачивала античную трагедию.

– Ну-ну, не реви, брось, – примирительно приговаривал дед, прижимая к себе ее встрепанную черноволосую голову.

И Лика всхлипывала еще слаще, вжимаясь опухшим покрасневшимся лицом в широкую грудь своего единственного защитника, вдыхая такой родной и домашний запах чистой выглаженной рубахи.

– Не реви. Вот, посмотри-ка!

Дед нашаривал на столе листок бумаги и неумело вычерчивал на нем какие-то каракули. Лика поначалу не желала так просто расставаться со своим горем, отворачивалась от рисунка. Потом любопытство брало верх, и между пальцами прижатых к лицу ладоней выглядывал круглый любопытный глаз.

– Вот видишь, так самолет заходит на посадку, – объяснял дед, тыча узловатым пальцем в рисунок. – И спускается он по такой вот кривой линии. Она называется глиссада.

И Лика уже заинтересованно следила за разворачивавшимися на листке бумаги военными действиями, слушала любимый, чуть надтреснутый голос и лишь изредка, по инерции, всхлипывала.

К вечеру же все три ягненокка – Нинка, Эйты (тот обязательный, добрейшей души человечик под два метра ростом, непонятно как женившийся на продмаге, при общем-то дефиците мужчин послевоенного времени, подставлял телевизору ухо со слуховым аппаратом) и ослабевшая

от пережитого несчастья, насильно накормленная ужином Лика – сидели рядом у телевизора и с увлечением смотрели «Спокойной ночи, малыши». Мир был восстановлен.

До поры до времени Лика и не знала, что ее семья чем-то отличается от общепринятого советского стандарта. Вот ведь и в сказках всегда так было – жили-были дед да баба, и была у них курочка Ряба, то есть внучка Ликуся. О том, что у других детей мамы бывают на постоянной основе, а не с короткими визитами по субботам, Лика начала смутно догадываться годам к шести. Когда же выяснилось, что у некоторых существуют еще и какие-то таинственные папы, Лика и вовсе пришла в недоумение и пристала с вопросами к бабке. Продмагша, имевшая довольно смутное представление о психологии вообще и детской в частности, а также никогда не отличавшаяся сдержанностью и тактом, выплеснула на любознательного ребенка целый ворох плохо вязавшихся между собой фактов. Лике сказано было, что папаша ее, козел паршивый, не захотел на больного ребенка горбатиться и смылся. И что туда ему и дорога, кобелю поганому, сами вытащим, ничего, руки-ноги-голова есть, слава богу. И что мать, дура малахольная, сама тоже хороша, знай путалась с кем попало, а приплод подкинула бабке с дедом, ей, видите ли, тоже жить хочется, а ребенок только на шею висит да гулять мешает.

Получив такую исчерпывающую информацию, Лика от-

правилась переваривать ее в свою комнату, под кровать. И когда спустя два часа бабка выволокла ее оттуда за ногу, в голове девочки уже сложилось стойкое представление о том, что другие дети, хорошенькие, умненькие и здоровенькие, своим родителям в радость, она же, Лика, больная, убогая, – камень на шее. Должно быть, очень тяжелый и неудобный камень, раз папа совсем не захотел ее видеть, а мама отваживается на встречу лишь раз в неделю.

По-хорошему объяснить ей, что, как и почему, никто так и не взялся, и Лика много лет восстанавливала историю своего появления на свет по обрывкам разговоров, коротким причитаниям матери и неизменному ворчанию бабки. И всякий раз из этих случайно услышанных фраз, восклицаний и вздохов следовало, что ее, Ликино, рождение пришлось совершенно некстати, взбаламутило, переполошило и раскидало в разные стороны некогда дружную семью. Полностью же восстановить для себя ход событий ей удалось лишь через много лет, во вполне взрослом возрасте, когда осознание себя нежеланным, никому не нужным, больным и нелюбимым ребенком полностью укоренилось в ее душе.

## 2

Первая любовь – последняя игрушка детства.

В те стародавние времена, когда закрутилась вся эта канитель, предшествующая рождению Лики, блудная мамахен звалась еще просто Оленькой, носила узкие платья, приоткрывающие стройные загорелые колени, начесывала перед зеркалом светлые пушистые волосы, укладывая их в пышный валик на макушке, звонко хохотала и рисовала длинные черные стрелки над блестящими легкомысленными глазами.

Отец, тогда еще крепкий моложавый мужчина, преподаватель в авиационном институте, в единственной дочке души не чаял. Мать воспитывала чадо со свойственной ей суровостью, однако тоже готова была разорвать всякого, кто посмеет покуситься на драгоценное дитя. Оленька особенных забот родителям не доставляла – росла здоровой и послушной, училась не блестяще, но вполне сносно, вертелась перед зеркалом не больше, чем другие семнадцатилетние девочки. И вдруг – надо ж было такому случиться – к вящей неожиданности семейства выкинула финт: сокрушительно влюбилась в сына крупного партийного функционера, студента МГИМО, «золотого мальчика».

Трибуны стадиона ревели от восторга. Какой-то парень в соседнем ряду, не справившись с нахлынувшими эмоци-

ями, вскочил ногами на узкую деревянную лавку и заорал, размахивая руками:

– Женька – молоток! Держись!

Оленька рассеянно глянула вниз, туда, где носились по поросшему ярко-зеленой травой футбольному полю парни в красной и синей спортивных формах. И зачем только Светка притащила ее на этот студенческий матч? Сама-то, понятно, пришла поддержать своего дорогого жениха, но ей-то зачем тут время терять? Кругом все орут, прыгают, как ненормальные, и только она, единственная, скучает, глядя на яростно гоняющих мяч игроков.

Там, внизу, темноволосый фигуристый парень, вероятно, тот самый Женька, завладел наконец мячом и уверенно погнал его к воротам. Светка – вот тоже, болельщица нашлась! – не отрывая глаз от поля, изо всех сил сжала Олино запястье. Парень лихо обошел мельтешившего перед ним игрока другой команды, размахнулся и точным движением послал мяч в ворота. Светка взвизгнула и обхватила подругу за шею. Зрители взревели. Оленька недовольно сдвинула красиво подведенные брови.

– Пойдем спустимся, – позвала подруга, когда прозвучал финальный свисток. – Надо ребят поздравить.

– Скажи уж прямо, не терпится Славика своего пови-  
дать, – съехидничала Оленька, но все-таки пошла вслед за Светой.

Внизу, в узком внутреннем коридоре между раздевалка-

ми, толклось много народу. Все голосили, пожимали друг другу руки, обсуждали только что закончившийся матч. Светка заработала локтями, протискиваясь вперед. Из-за двери раздевалки выглянул Славка, увидел их, помахал рукой.

– Славик! – взвизгнула Светка и повисла у него на шее.

Оля терпеливо ждала, когда эти изливания чувств наконец закончатся и они смогут выбраться из потной гомонящей толпы. Но тут дверь раздевалки снова хлопнула, и из-за плеча Славика выглянул незнакомый улыбчивый парень, тот, которого она заметила на поле. Он глянул на Олю быстрыми янтарно-карими глазами, откинул прилипшие ко лбу темные вихры и улыбнулся.

– Девушки приветствуют героев? А я разве не заслужил поздравлений?

– Поздравляю... вас, – пролепетала почему-то вдруг оробевшая Оленька. – Вы... вы очень здорово бегали...

Из его удивительных золотистых глаз так и брызнули искорки веселья. Светка картинно покрутила пальцем у виска.

– Ну ты даешь, Оль! Бегали... Женька же герой! Финальный гол забил. Ты его не узнала, что ли?

– Да девушке, по-моему, что гол, что офсайд, никакой разницы, – хитро прищурился Женя. – Проскучала на скамейке весь матч. Верно, Ольга?

Оленька пожалала плечами и почему-то покраснела. А Женя, продолжая веселиться, отцепил от майки маленький

металлический значок с эмблемой института, наклонился к Оле и приколот его к ее платью. Горячие пальцы на мгновение коснулись груди сквозь тонкую шелковую ткань, завитки на висках взлетели и опустились от его все еще прерывистого после матча дыхания. Оля сморгнула и смущенно потеревила пальцами значок.

– Это вам, Ольга, как самому заинтересованному болельщику, – усмехнулся Женя. – Ну что, друзья, может, поедем куда-нибудь погуляем? Мне родитель ради такого случая ключи от машины дал.

А потом мчались по Москве в серебристой «Волге», какие Оля раньше только издали видела. Смеялись, болтали обо всем на свете, кричали какие-то глупости в окно. А вечером на танцплощадке в Парке культуры разноцветные огоньки расцветивали белое платье яркими горошинами, и звезды, щедро рассыпанные по небу, кружились над головой. Женины ладони на ее спине, Женины губы легко, будто невзначай касаются ее волос.

– О-льга, – протяжно шепчет он. – О-льга.

И видно, как вздрагивает впадинка на шее в расстегнутом воротнике его рубашки.

– Я тебя не пущу никуда, так и знай! – разорялась взбешенная неожиданным взбрыком всегда послушной дочери Нина Федоровна. – Какие свидания, ишь чего удумала, у тебя поступление в институт на носу. Сиди занимайся!

Она грохнула о письменный стол стопку учебников.

– Олюша, у тебя ведь и в самом деле экзамен через неделю, – примирительно увещевал отец.

И Оля, давясь злыми рыданиями, хлопала дверью своей комнаты, усаживалась за письменный стол, тупо разглядывала корешок учебника. Какие могут быть экзамены, какие институты, когда пришло и накрыло то самое, огромное и настоящее, о чем до сих пор только читалось в книгах и томильно мечталось ночами. Что понимают они, эти пошлые мещане? Для них – лишь бы девочка была здорова и хорошо училась. А то, что девочка давно выросла и у нее в груди сердце разбухает и теснит грудную клетку, на это им наплевать.

И Оленька напряженно прислушивалась к звукам в квартире, ожидая вздоха пружин под тяжелым телом укладывающейся матери и громовых раскатов храпа полуглухого, контуженного на войне отца. Потом тихонько выскальзывала из комнаты, хватала в прихожей модные лакированные лодочки на тонком каблуке, аккуратно прикрывала за собой входную дверь и, обувшись уже на лестнице, сломя голову летела вниз по ступенькам. Воровато оглядываясь на окна, перебегала двор и проскальзывала на переднее сиденье притаившейся в темном тупичке за гаражами «Волги».

Женька обхватывал ее за плечи, торопясь, словно не мог насытиться, припадал к ней, целуя виски, щеки, губы, шею. И все вместе – запах бушующей во дворе сирени, бензина,

его гладкой кожи под ее губами – сливалось в какой-то дурманящий голову аромат любви и сумасшедшего счастья.

В институт Ольга провалилась. Мать покричала, но в конце концов смилостивилась, разрешила догулять последние летние каникулы, а с осени обещала оформить кассиршей к ней в продамаг. Ольга, впрочем, об этом и не думала, мысли ее заняты были совсем другой неожиданной, стыдной и неудобной проблемой. Слонялась по квартире рассеянная, долго тянула, но в конце концов сходила все же к врачу и вечером, когда сидели с Женькой на каменном парапете набережной Москвы-реки, пряча глаза, сообщила ему новость.

– Ольга, так это же чудесно! – обрадовался он. – Это просто здорово. Какая ты у меня молодец!

– Правда? – расцвела Оля. – Ты рад?

– Ну еще бы! Представляешь, мы с тобой оба такие красавцы, так какой же сын у нас получится? Да просто Мастроянни! Следить придется, чтоб не украли.

– Да, но... – неуверенно протянула Оля. – Что же мы будем делать?

– Как – что? – удивленно дернул плечами Женька. – Ясно что. Жениться будем.

И Оля, окрыленная, обхватила его руками за шею и поцеловала, не стесняясь неодобрительных взглядов прохожих.

Через несколько дней Женька повел ее знакомиться с ро-

дителями. Оля во все глаза смотрела на роскошный мраморный холл высотки на Котельнической, недоверчиво трогала пальцем деревянные панели лифта, вслушивалась в гулкое эхо широченных коридоров. Отец Жени, приземистый краснолицый мужчина в вышитой у горла косоворотке, выслушал их хмуро, сдвинул на переносице кустистые брови и повел сына разговаривать в кабинет. Оля осталась с мамой, холеной дебелий дамой с лакированным начесом. Женщина угощала ее кофе из крохотных чашек китайского фарфора, показывала фотографии в тяжелых, с треском разворачивавшихся альбомах, держалась вежливо и отстраненно.

Из окон квартиры видна была вся Москва – улицы, дома, парки и скверы, закованная в гранит река, по которой медленно полз пароходик, играющие золотыми солнечными бликами купола кремлевских соборов. И Оля немного помечтала о том, как будет жить здесь, подносить к стеклу маленького сына и показывать ему: «Смотри, смотри, это твой город, самый лучший, самый красивый город на земле».

О грядущей свадьбе и пополнении в семействе она за весь вечер не обмолвилась ни словом. Ольга все ждала, что вот появится Женька и они все обсудят, решат, где будут жить, как назовут будущего Мастроянни. Но Женька в своей роскошной квартире неожиданно стушевался, почти слился с добротной, со вкусом подобранной обстановкой. Все больше отмалчивался, поглядывая на родителей. И провожать ее не поехал, отец вызвал по телефону молчаливого усатого

шофера, который поздно вечером отвез Олю домой.

Знакомая серебристая «Волга» бесшумно летела по пустым темным улицам. Ольга забилась в угол на заднем сиденье, стараясь не обращать внимания на гадко царапавшее внутри предчувствие беды.

И беда действительно грянула, разразилась неожиданно и накрыла такой черной и непроглядной тучей, что Ольге оставалось потом только голову ломать, за что же обрушилась на нее такая страшная расплата. Неужели за одно короткое лето ослепительного счастья – за всю эту глупую сирень, за цветные блики на платье и горячие губы на коже?

Грязно-серое небо неопрятными клочьями висело над городом. Тусклое подслеповатое солнце безуспешно пыталось проглянуть сквозь унылую пелену и, отчаявшись, спряталось окончательно. Редкие прохожие спешили по холодному, продуваемому осенним ветром бульвару, кутаясь в кофты и пальто. Ольга плакала, сжавшись на сырой скамейке. Евгений, опустившись перед ней на корточки, заглядывал ей в лицо, щуря так ослепившие ее когда-то золотисто-карие глаза.

– Гусенок, ну ты же понимаешь, я не могу отказаться, – сбивчиво объяснял Женька, сжимая ее руки. – Это не я решаю, это такой уровень, тебе и не снилось. Ну перестань!

Он торопливо стирал с ее покрасневших щек слезы, при-

жимал к себе ее голову, гладил по волосам, успокаивал.

– Почему... ну почему ты должен ехать в эту проклятую Африку? Почему именно ты? – всхлипывала Ольга.

Она вскочила со скамейки, торопливо пошла не разбирая дороги. Женька догонял ее, утешал, грел руками ее озябшие пальцы. Они свернули куда-то во дворы, брели мимо облетевших лип, мимо кутавшихся в куцые куртки мужичков, забивающих на колченогих столах неизменного «козла». Из приоткрытой форточки кряхтел чей-то патефон, в соседнем окне женщина, стоя коленями на подоконнике, забивала на зиму ватой щели в оконных рамах. Уже темнело, в домах вспыхивали огни, окна оживали. И за каждым стеклом, за каждой задернутой занавеской были люди. И никому из них не нужно было уезжать.

– Ну что ты как маленькая, – ласково гудел Женя. – Знаешь ведь, какая у меня специальность. А тут – распределение, эта должность в посольстве. Это ведь не навсегда, я вернусь через полгода. Ну, максимум через год.

– А я как же? Что со мной будет? – рыдала Оля.

– Да ничего не будет, – уверял Женька. – Отдохнешь, успокоишься, родишь мне маленького Марчелло, как договаривались. А потом я приеду, и мы тут же распишемся. Черт, да я бы прямо завтра в загс с тобой пошел, если б документы уже не ушли на оформление.

– Ты не приедешь! – в истерике, не желая успокаиваться, мотала головой Ольга. – Ты никогда не вернешься.

И отчаянно вцеплялась пальцами в отвороты его модного болоньевого плаща, словно надеясь удержать.

Но он все-таки вернулся. Правда, не через полгода, а через два. Когда на руках у осунувшейся, почерневшей от безжалостной беды Ольги уже был годовалый ребенок. Не тот красивый, розовощекий и упитанный мальчик, вылитый Мاستроянни, о котором они когда-то мечтали, а уродливая девочка с большой головой в бордовых пятнах и маленькими кривенькими ножками. Диагноз, поставленный ей врачами, звучал возвышенно и даже как-то гордо – гидроцефалия головного мозга.

### 3

– Конечно, случаи разные бывают, – разводила руками роддомовская главврач, благодаря белой крахмальной шапочке на голове и набрякшим синим векам напоминающая вокзальную буфетчицу. – Но прогноз неутешительный. Лет пять, может быть, семь при хорошем уходе. Бывают и случаи выздоровления, но это редкость...

Девятнадцатилетняя Ольга, опухшая от рыданий, отупевшая от навалившегося на нее непосильного груза, сидела на продавленной больничной койке и раскачивалась из стороны в сторону, машинально прижимая к себе тощий сверток, в котором ворочалось и тянуло шею новорожденное дитя. Санитарка, жилистая вертлявая баба Зина, возила воюющей шваброй между кроватями. Поравнявшись с Ольгой, она наклонилась и зашептала ей в ухо:

– Чего реवेशь-то? Оставляй девку здесь, под расписку. Ты сама дите еще, куда тебе больной ребенок, дуре? Ниче, государство позаботится.

Ольга, не отвечая, смотрела на санитаркины шевелящиеся темные морщинистые губы, и в голове само собой складывалось: «А что, если правда...» Если уродец исчезнет, испарится, как будто его и не было. Может, тогда она станет прежней беззаботной хохотушкой Оленькой, самой красивой девочкой в классе? Может быть, все станет как прежде? Вер-

нется весна, радость, юность и... Женька... Женечка, любимый... Так просто... Положить сверток на каталку, подписать бумагу и...

Из коридора донесся необычный для родильного отделения шум – громкий мужской голос, топот тяжелых ботинок, взвизги медсестер:

– Мужчина, мужчина, куда вы? Сюда посторонним нельзя!

Голос рыкнул что-то неразборчивое, и через минуту в палату ворвался отец. Ольга, кажется, впервые за всю жизнь видела обычно тихого покладистого Эйты таким – непреклонным, решительным, идущим вперед, не слушая ничьих возражений. Отец направился к ней, подхватил на руки внучку, бросил дочери:

– Собирайся!

И Ольга принялась послушно натягивать куртку прямо на халат. Что-то было сейчас такое в отце, что-то, заставлявшее слушаться его беспрекословно.

И вот они оказались дома, все вчетвером. И жизнь закрутилась вокруг крошечного орущего комочка, которому врачи пророчили не больше пяти-семи лет жизни. Продмаг и летчик тогда буквально вцепились в это вечно орущее существо. На этой почве родители друг с другом практически не лаялись, чего между ними не наблюдалось аж с 1948 года, а именно с момента свадьбы.

Дед, коренной белорус, унаследовал от своей матери способности к знахарству. Все лето и раннюю осень бродил по лесам, собирая целебные травы, которые высушивал, потом измельчал и рассыпал по жестяным банкам. Травами этими он лечил весь их небольшой летный микрорайон, теперь же со всей силой последней любви принялся за выхаживание внучки. Дед поил Лику своими чудодейственными отварами по часовой сетке, спал урывками, так как эта сетка включала в себя и ночной прием отвара. Первое время лечение не давало никакого результата. Синевато-бледный ребенок с непомерно большой головой отчаянно не желал бороться за жизнь, учиться сидеть, вставать, разговаривать. Ольга ревела лишь при одном взгляде на колыбельку, оплакивала все, что сотворила с ней судьба, так много обещавшая и так жестоко обманувшая ее ожидания. Жизнь ее теперь была чередой одинаковых безрадостных дней, наполненных криками больной дочери, руганью матери и постоянным молчаливым давлением отца, который, единственный, казалось, верил в будущее, бродя ночами по квартире, как лунатик, с неизменной чашкой своего пахучего зелья в руке.

В один из таких обычных, ничем не примечательных дней свалившегося на Ольгу кошмара в дверь позвонили. Она открыла, хмуро поглядела на нежданного посетителя и вдруг охнула, отступила на шаг и прижала руку к губам. На пороге стоял Евгений.

Женька в светлой и мягкой заграничной дубленке, с шуршащим целлофаном в руках, в который были обернуты нежные чайные розы, со своей мальчишеской белозубой улыбкой показался сейчас Ольге таким же нереальным, как если бы на пороге ее квартиры возник вдруг Дед Мороз. Казалось невероятным, что когда-то она с легкостью прижималась к нему, ерошила пальцами волосы, целовала. Женька топтался в прихожей, не зная, куда пристроить цветы.

– Ну как ты? Как живешь? – неуверенно спросил он.

– Я? Я нормально. У меня... дочка. – Ольга растерянно теребила пояс халата.

– Да, я знаю, мать мне писала. Так не повезло... Ужас!

– А ты... надолго приехал?

Ольга даже зажмурилась, задавая вопрос. Так жутко и сладко было б услышать «навсегда, насовсем, к тебе».

– Не, я в отпуск, – светски улыбнулся Женя. – Служба, сама понимаешь... Вот, решил зайти. Может быть, помощь нужна? Так я вот...

Он наконец пристроил букет на тумбочке у зеркала, полез во внутренний карман дубленки. Появившаяся на пороге кухни продмагша, скрестив руки на груди, мрачно уставилась на несостоявшегося зятя исподлобья, внимательно следя за его суетливо шарящими по карманам руками.

– Вот, возьми, тут деньги... – Женька протянул Ольге пухлую пачку купюр.

Она же еще не понимала, что происходит, знала лишь,

что вот они, его длинные тонкие пальцы, такие родные, снова касаются ее руки. Подскочила мать:

– Это сколько же тут, а? Сколько не пожалел? Откупиться думаешь? Как бы не так! Мы свои права знаем, алименты отстегивать будешь как миленький.

Женька попятился под напором грозной фурии, Ольга ахнула:

– Мама, о чем ты? Уйди, пожалуйста!

Но тут из комнаты грозной поступью вышел бывший военный летчик.

– А, барин вернулись? На дочь взглянуть не желаете? – тихо осведомился новоиспеченный дед.

И снова в его голосе зазвучало что-то такое, что Ольга отпрянула, забилась в угол прихожей, с ужасом ожидая неминуемой развязки. Евгений же, кажется, ничего такого в голосе ее отца не уловил.

– Я... Я в общем-то... – неуверенно начал он. – Лучше, наверно, в другой раз. Я с мороза. А ребенок все-таки болен.

– Зачем же пожаловать изволили? – наступал на него летчик.

– Я, собственно, денег привез! – петушась, воскликнул Женя. – Вам же нужно, наверное...

– Денег? – гаркнул вдруг отец.

Он выхватил из рук жены пачку банкнот, сунул ее за отворот дубленки пятившегося Женьки, распахнул дверь и вытолкнул того на лестничную площадку.

– Не нуждаемся! – хрипло выкрикнул он. – Вон пошел!

Ольга видела, как Женька, никогда не унывающий Женька, испуганно, как-то боком, трусцой сбегал вниз по лестнице, в панике оглядываясь на сурового летчика.

– Папа, ну зачем ты? – всхлипнула она.

– Ничего, дочка, ничего! – примирительно похлопал ее по руке отец. – Сами вырастим. Никогда перед подонками не лебезил, нечего и начинать на старости лет.

Ольга же бросила быстрый взгляд в зеркало и охнула в отчаянии. Боже мой, неумытая, нечесаная, в старом халате, закапанном молочной смесью. Во что она превратилась, и все из-за этого вечно орущего, издергавшего всю семью младенца. Неудивительно, что Женька не захотел даже обнять ее. Этакое страшилище!

Не в силах поверить, что это и есть конец всем ее мечтам и ожиданиям, Ольга попробовала попытаться счастья еще раз. Уж теперь она позаботилась о том, чтобы выглядеть привлекательно. С трудом уложила отвыкшими пальцами пухлую шишечку на затылке, закрутила задорные колечки у висков, набросила на плечи материнскую шубу и поехала напрямик на Котельническую, караулить любимого у подъезда.

Женька никак не появлялся, и она замерзла, замерев возле подъезда высотки. Дом со множеством арок, башенок и подъездов жил своей жизнью, равнодушные люди входили и выходили, и никому из них не было до нее дела. Покрытая

серой коркой льда Москва-река обдавала холодом. По мосту, деловитые и быстрые, бежали автомобили. Нос покраснел, стрелки на веках размазались от летевшего в лицо снега, и когда наконец он вышел, Ольга снова не смогла изобразить той, прежней, очаровательной и легкомысленной улыбки.

– Ты что тут делаешь? – удивился он.

И Ольге показалось, что в словах его прозвучала досада.

– Женя, это же я, – тихо произнесла она, напряженно вглядываясь в не желавшие смотреть на нее золотисто-янтарные глаза. – Ты забыл разве? Ведь мы собирались... Я же люблю тебя, Женька!

– Давай-ка прогуляемся, – отвернулся он.

Схватил ее под руку и повел куда-то по набережной. Колючие снежинки сыпались в лицо, и голос Евгения казался таким же – холодным и неприятным.

– Ольга, ты должна понять. Мне ведь было двадцать два, тебе восемнадцать. Что мы вообще видели в жизни, что понимали? Ну, встречались, ну целовались, несли всякую чушь. Но ведь два с лишним года прошло. У тебя своя жизнь, у меня своя. Я мог бы сейчас, конечно, как честный человек и все такое... Но ты же понимаешь, что это все мещанские правила, которые никому не приносили счастья. К тому же у меня другая женщина, и у нас серьезные отношения, понимаешь? Ну зачем мне калечить твою жизнь, а тебе мою? Ведь мы, по сути, чужие друг другу люди...

Ольге казалось, что еще минута, и она закричит, завоет

ОТ ЭТИХ СЛОВ.

– Ладно, – кивнула она, отступив на шаг и вытащив руку из-под его локтя. – Я поняла.

Евгений с видимым облегчением улыбнулся, сказал:

– Ну и прекрасно. Ты звони, если что. Денег там или помощь какая-то...

И пошел прочь, сияя сквозь валившийся с неба снег своей модной золотистой дубленкой. Ольга же на самом деле поняла лишь одно – что счастье ее, сумасшедшее, небывалое, никем не виданное прежде счастье, отобрали больная дочь, грозный отец и сварливая мамаша.

Однако делать было нечего, пришлось возвращаться в семейное гнездо, на этот раз возвращаться уже окончательно, ни на что больше не надеясь.

Дед и бабушка тем временем, вскоре забыв о посещении блудного зятя, с новыми силами взялись за выхаживание внучки, подогнали жизнь под расписание приема лекарств. В результате этого нечеловеческого трехлетнего подвига девочка встала и пошла своими ножками, заговорила, стала держать ложку в руках, и головка у нее теперь болела не двадцать четыре часа в сутки, а двенадцать, затем шесть, а потом и вовсе головные боли перестали ее мучить. Смерть с одной стороны, бабушка с дедом с другой. Победила семейственность.

К шести годам Лика ничем не отличалась от нормальных детей. Она не была заторможена, или плаксива, или не в меру капризна. Тяжкие страдания, перенесенные в раннем детстве, закалили ее характер, и девочку не так просто было вывести из себя. Врачи только руками разводили – такое небывалое везение, просто чудо. И все же настоятельно не рекомендовали девочке в будущем обзаводиться потомством – чудеса чудесами, а генетика – вещь неумолимая.

После выздоровления Лика, для адаптации к коллективу, была отправлена в детский сад. Но суровое сердце деда-летчика, два раза горевшего в самолете, почти глухого, томилось и спотыкалось в одиночестве, и он, несмотря на яростные протесты продмага и еле слышное шелестение со стороны мамахен, извлек любимое чадо из советской кузницы зла. Пролетарское воспитание для Лики было закончено, она ни разу не ездила в пионерский лагерь, для школы оформлялись бесконечные справки-освобождения от физкультуры, а в столовой ее, единственную, не заставляли давиться манной кашей в склизких, мерзких комочках.

Зато они с дедом бродили в лесу до темноты, приносили разгневанному продмагу две корзины грибов, охапку душистых, свежесорванных целебных трав. И, казалось, нет ничего прекраснее в жизни, чем брести вот так по убегающей изпод сандалий сухой тропинке, держаться за мозолистую ладонь и слушать монотонный тихий голос:

– Вот, помню, в сорок втором тяжело было, зима разразилась лютая...

Ольга тем временем, освободившись от необходимости нести посменную вахту возле больной девочки, занялась устройством личной жизни и вскоре нашла-таки женское

счастье в объятиях начинающего художника, по слухам, большого таланта. И хрупкое равновесие, установившееся в семье в последние годы, снова было нарушено.

Несокрушимому союзу воздуха и товаров народного потребления отчаянно не понравился зять, художник, придурок и выпивоха. Эти крайне неприятные и, как казалось счастливому новобрачному, тайные пороки были тут же извлечены на свет божий и обнародованы во всеуслышание прозорливым продмагом: «Не будем пригревать нищету голозадую, мазилкин, тоже мне, еще чего не хватало», – был вынесен вердикт. А уж когда Личка после посещения этого козлобородого творца заболела ангиной с высокой температурой, тут уж дед клятвенно пообещал, что ноги его, потенциального убийцы и мучителя ребенка, не будет в доме.

Однако Ольга решительно объявила, что на этот раз не позволит святому семейству разрушить ее счастье, и отбыла вместе с новым избранником в светлое будущее. Поселились они на подмосковной даче творца-недоучки, сопровождаемые последним отцовым напутствием: «Ты, если хочешь, приходи. Но только без него! Без него!»

Лику бородач тоже не понравился. Лика хотела жить с бабой, дедом и матерью, зачем нам чужие... Откровенно говоря, Лика любила и знала только деда и не понимала, как можно любить кого-то еще. Мать Лика тоже любила, но она ее не знала. По странному стечению обстоятельств Лика пронесла эту любовь к деду через всю жизнь, помнила его,

как живого, хотя он и оставил свою обожаемую внученьку довольно рано, и ее, школьницу уже, даже не пустили к нему на похороны...

Под окном подъезда стоял приземистый ржавый автобус с черной полосой вдоль борта. Вокруг него суетились люди – вносили венки, разбрасывали по тротуару еловые ветки. Бабушка, в криво повязанном черном платке похожая на престарелого пирата, отдавала распоряжения, и даже отсюда, с высокого этажа, через плотное стекло слышен был ее командирский голос, ничуть не смягчившийся даже перед лицом утраты.

Лица, сейчас уже угловатый четырнадцатилетний подросток с цепким и настороженным взглядом зеленых глаз, как когда-то в детстве, висла на подоконнике, прижимая пылающее лицо к стеклу. За окном был душный пыльный летний день, и нагретое стекло не освежало лоб, не приносило хотя бы минутного облегчения. Автобус зафырчал, стайка людей в черном, похожих на встрепанных грачей, загрузилась в салон, и через минуту двор опустел. Ее не взяли.

Весь вечер она билась с матерью и бабушкой за право увидеть в последний раз любимого деда, ей же объявили беспрекословно: «Нечего и думать. Ты больная. Тебе сильные потрясения вредны». И она сдалась, согласилась. Слишком сильно было в ней это впитанное с детства ощущение – тебе нельзя, ты больная. Всем можно, а тебе нельзя.

Нельзя прыгать через скакалку, ходить в походы, плавать в бассейне. Нельзя прийти попрощаться с любимым человеком. Да что там, просто нельзя любить, привязываться, мечтать. Жизнь все равно отнимет, отберет самое дорогое. А тебе нельзя, тебе вредны сильные потрясения.

И оставалось только бродить одной по враз опустевшей квартире, ловить пальцем пылинки, плавающие в горячем воздухе, и вздрагивать от мерещившегося в душной пустоте родного голоса:

– А вот, к примеру, бомбардировщик «Б-52». Как бы тебе объяснить... Да вот, смотри, сейчас нарисую.

Много лет спустя, забыв все свое прошлое, похоронив ту, самую юную и счастливую часть себя, она пришла все же к выводу, что единственный мужчина, который ее по-настоящему любил, прощал и всегда желал только добра, был ее полуглухой дед – военный летчик, муж своей жены-продмага и герой войны, вся грудь в орденах.

## 5

*«Я хочу танцевать, рисовать, играть на рояле,  
писать стихи. Я хочу всех любить – вот цель моей  
жизни. Я люблю всех. Я не хочу ни войн, ни границ.  
Мой дом везде, где существует мир...»*  
**Вацлав Нижинский**

Свет в зале начал медленно гаснуть, постепенно замер обычный театральный гул. Еще пару секунд слышны были отдельные шорохи, чей-то быстрый шепот, и наконец все стихло. Грянул оркестр, полилась в зал волшебная музыка Дебюсси, и тяжелый бордовый бархатный занавес пополз в разные стороны, открывая ярко освещенный сказочный лес. Постановка балета «Послеполуденный отдых фавна» была большой уступкой со стороны руководства Большого театра в пользу современных танцевальных течений, приходивших с Запада и настоятельно не рекомендованных сверху к внедрению в советское искусство. Возрождение этого легендарного балета, поставленного Нижинским в 1912 году, стало возможно лишь по особому указанию партии и правительства по случаю приезда высокопоставленных правительственных гостей из Франции.

Лица подалась вперед, во все глаза вглядываясь в декорации. Место ей, к сожалению, досталось на балконе неудачное, часть сцены оказалась не видна. Но за билет и на это

кресло ей пришлось выстоять многочасовую очередь в кассу, притом занимать ее пришлось накануне вечером. Пока яркие лучи софитов высвечивали лишь распростертое под причудливо сплетенными ветками неподвижное тело, это было не так важно. Тонкая изменчивая мелодия, казалось, вот-вот должна была разбудить дремавшее в заколдованном лесу удивительное существо. Лица, затаив дыхание, ждала, когда это случится.

И наконец существо пробудилось от дремы, подняло голову, потянулось, все исполненное ленивой животной грации, и приложило к губам свирель. Обтянутое бело-коричневым трико тело озорного фавна жило какой-то своей жизнью, пластично гнулось и распрямлялось, полусознательно, повинувшись древним зовущим инстинктам. Танцовщик успел сделать всего лишь несколько движений по сцене, как по залу пронесся уже восторженный шепот:

– Андреевский, Андреевский...

И Лица, словно загипнотизированная, не в силах оторвать взгляд от движущейся по сцене, то настороженно, крадучись, то резко, угловато, фигуры, тихо поднялась со своего неудобного места, прошла между кресел к ступенькам, спустилась вниз, к самому краю балкона, и опустилась на колени перед балюстрадой. Она не слышала раздраженных шиканий, не чувствовала ломоты в ногах. Привалившись к барьеру, она неотрывно смотрела на приковавшего к себе всеобщее внимание фавна. На Никиту...

Казалось удивительным, невозможным, что этот древний языческий бог легко, словно играючи, передвигавшийся по раскинувшемуся на сцене красочному лесу, и есть их молодой преподаватель хореографии из модной театральной студии, заниматься в которую Лику устроил незадолго до смерти дед. Преподаватель, в которого вот уже месяц Лика была отчаянно и безнадежно влюблена.

Занятия в театральной студии должны были, по мысли старика, раскрепостить нелюдимую девочку и сдружить ее с коллективом. Именно здесь, как ему казалось, маленькая принцесса могла бы встретить достойного ее принца, тем более что занимались в студии исключительно дети из хороших семей. Замкнутая Лика поначалу ни за что не хотела отдавать занятиям часть того свободного времени, которое могла бы провести в разговорах с любимым дедом, тем более что ездить с их окраины в студию в центр было долго и утомительно. Но, видя, как дед зажегся этой идеей, сдалась и уступила. После его скоропостижной смерти девочка собиралась тут же забросить занятия, и вот тут-то как раз и появился принц.

Конечно, годы спустя она бы с удовольствием поспорила о том, существует ли на самом деле вот такая любовь с первого взгляда и можно ли погрузиться в совершенно незнакомо-

го человека, ничего о нем не зная. Но на тот период Лике исполнилось шестнадцать лет, и душа ее, совсем юное женское естество, начинала томиться в преддверии грядущих изменений. Разумеется, девушка ни на секунду не забывала о том, что она всегда будет находиться где-то за пределами обычных человеческих радостей, и не ей выпрашивать у судьбы снисхождения, но все же, все же...

Никита ворвался в ее жизнь мощнейшим цунами. Все случилось сразу, в один день, когда в их театральную студию пришел новый молодой балетмейстер. Лика запомнила появление Никиты посекундно, детально, как будто каждый его вздох или движение имели необыкновенное и важное значение.

Лика сидела в самом дальнем углу небольшого танцевального класса, подперев тщательно побеленную стену узкой, совсем детской еще спиной. За приоткрытыми окнами неистовствовала майская гроза, ветер шумел в верхушках кленов. Дверь резко распахнулась, и в класс вбежал Никита, открыто улыбаясь, словно одаривая притихших студийцев своим талантом, уверенностью в себе. Будто приглашая и их тут же, не медля ни секунды, проникнуться его уверенностью тоже, заставляя поверить, что они и есть самые талантливые, а новая постановка непременно станет целым событием в истории драмкружка.

Лика сразу и безоговорочно поверила в него и полюбила этого молодого бога. Любовь заполнила ее до краев,

до самых корней волос – безграничным, слепым обожанием. Лица смотрела и не могла оторвать глаз от необыкновенно пластичной фигуры, впитывала в себя, проникалась им, боясь пропустить малейшее изменение в его интонациях или жестах. Как замороженная, следила за его перемещением по классу. Лице казалось, что законы земного притяжения не распространяются на Никиту Андреевского, что он может воспарить в любой момент, оторвавшись от пола, и даже не заметит этого.

Никита шагнул к ней, обдал свежим запахом дождя и прямой гвоздики, обратился к замершей в углу зеленоглазой девочке, больше похожей на ребенка, чем на подростка, вероятно, хотел узнать ее имя. Лица испуганно моргнула, с трудом догадавшись, о чем ее спрашивают, под смешки одноклассников назвала себя.

– Элеонора... но меня все называют Лица...

Никита улыбнулся глазами необычного, очень яркого голубого цвета. Во всем его облике было что-то необыкновенное – его невесомая фигура, вся состоящая из тонко вылепленных рельефных мышц, словно слетела с одного из полотен французских импрессионистов. В нем чувствовалась легкость и сила, грация и мужественность, и при этом не было ничего женоподобного, избыточного, слащавого. Его красота, помноженная на яркую харизму, вызывала мгновенное восхищение всех, кто попадался на его пути, – женщин, мужчин, стариков, детей.

Тут прозвенел звонок, хореограф махнул своим ученикам на прощание рукой и выбежал из класса. Ребята, перекрикивая друг друга и делясь впечатлениями от нового учителя танцев, гурьбой повалили в открытую дверь. Лица плелась позади. То, что сейчас произошло, пока еще не имеющее названия, то, что теперь целиком и полностью завладело всем ее естеством, будто давило на плечи, на грудную клетку, затрудняло дыхание. Определенно, с этим стоило разобраться и как-то научиться заново жить.

Странно было, что в ее ничем ранее не примечательном существовании вдруг появился этот парень, легкий, как летний ветер, и подвижный, как ртуть. И словно уже не стало всех ее придуманных проблем, переживания показались вдруг такими нелепыми и смешными. Теперь на свете существовало что-то более важное, чем ее вечная замкнутость и настороженность, и это что-то было ярким и свежим, как молодая, умытая дождем листва.

Лица подбежала к запотевшему окну и изо всех сил дернула фрамугу. Оказывается, гроза давно улеглась, с неба падали крупные, теплые, серебристые капли, сверкающие на выглянувшем из-за туч солнце. И весь мир показался ей вдруг необыкновенно чистым, сияющим, пахнущим свежестью дождя и чудесным запахом мокрого асфальта... И как это она раньше не замечала этого яркого, сладостного, томительного майского счастья.

Лица, не осознавая, что делает, высунулась из окна, по-

что полностью намочив балетное трико о мокрый подоконник, зажмурила глаза и выкрикнула только что пришедшее ей на ум название всему этому буйному великолепию:

– Ни-ки-та!!!

С того самого дня Лика, высидев положенные часы в школе, бегом неслась в театральную студию, боясь опоздать, упустить хоть секунду из отведенного ей на Никиту времени – полутора часов, ровно столько длилось занятие по танцам. Никита, казалось, совсем не тяготился навешенной на него профсоюзной нагрузкой – занятиями с юными театрами. Приходил вовремя, шутил, смеялся, заражая всех вокруг своей энергией. Высокомерия, презрения признанной звезды к простым смертным не было в нем ни на йоту. И Лике поначалу даже не верилось, что это на него, именно на него, рвется в Большой вся Москва. Только потом, увидев его на сцене, она и впрямь поняла, какой удивительный светлый талант сочетался в этом гибком смешливом парне с обаятельным дружелюбием.

Конечно, она и не надеялась на ответные чувства, не ждала, что он заметит ее и полюбит. Она знала: это было невозможно. И все же каждый раз перед занятием особенно тщательно закалывала перед зеркалом блестящие темные волосы и даже купила на сэкономленные на школьных завтраках деньги коробочку туши для ресниц. Никита же, казалось, совсем не выделял ее из стайки молодых стройных уче-

ниц. Был одинаково ровно предупредителен, вежлив и галантен со всеми. И вроде бы совсем не замечал, как колотится под черным трико Ликино сердце, когда он на репетиции подходил к ней и помогал ниже прогнуться в спине, мягко, но сильно надавливая ладонью на грудную клетку. Лике же довольно было и этого – только видеть его, слышать звонкий веселый голос, ощущать прикосновения рук. О большем она и мечтать не смела, памятуя о давнем своем наблюдении – жизнь всегда отнимает самое дорогое. Но оказалось, что и такого-то неприятельного, урывками полученного счастья для нее слишком много.

– Я еще раз повторяю, что мы не выйдем отсюда, пока не выясним, кто совершил этот наглый, безобразный поступок, – возмущенно колыхнула пышным бюстом директор театральной студии Марина Васильевна.

Солнце за окном уже спряталось за крыши окрестных домов, потянуло прохладой. Внизу прошлепал через двор завхоз Михалыч со связкой ключей. Собрание, посвященное «наглому, безобразному поступку», а именно выцарапыванию ругательства на борту новеньких директорских «Жигулей», длилось уже второй час и, похоже, не собиралось заканчиваться. Марина Васильевна допрашивала учеников с пристрастием, выдвигала вперед квадратную бульдожью челюсть, всматривалась в очередного подозреваемого и, казалось, даже принюхивалась в поисках виновного. Однако

до сих пор так ничего определенного и не вынюхала.

Ли́ка же прекрасно знала, кто этот, по выражению директрисы, циничный хулиган. Вернее сказать, хулиганы, их было двое. Вчера вечером, выходя из здания после занятия, она случайно наткнулась во дворе на неразлучную парочку студийцев, Машку и Валерку, совершающих «неслыханный акт вандализма». Ребята со смехом сообщили ей, что решили проучить гадину директоршу, отстранившую Валерку от участия в финальной постановке за частые пропуски занятий, просили не выдавать. Ли́ка, конечно же, обещала молчать как рыба.

Кто же мог знать, что Марина Васильевна устроит из-за своего средства передвижения такой переполох? Щеки ее тряслись и багровели, пышный бюст взволнованно трепетал в низком вырезе темно-зеленого платья, узловатый палец, увенчанный большим перстнем, то и дело тыкал в каждого из учеников:

– Кто это сделал? Ты? Ты? Ты? А кто?

На Машку страшно было смотреть. Она, бедная, вся вжалась в парту и глаза боялась поднять на разъяренную бульдожью морду.

– Ладно, пойдем другим путем, – зловеще пророкотала Марина Васильевна.

Она поднялась из-за стола, прошествовала к двери и крикнула куда-то в гулкий коридор:

– Никита Владимирович, зайдите в восьмой кабинет, по-

жалуйста!

Когда же в дверях появился Никита, директриса обратилась к нему:

– Вы, голубчик, не помните, кто вчера последним уходил с занятия по танцам?

– Конечно, помню, – светло улыбнулся Никита, не подозревавший, какие страсти кипят и бушуют в маленькой аудитории. – Белова последняя уходила, Элеонора. Она всегда...

Директорша, не дослушав, издала победный клич и ринулась прямо к сидевшей по обыкновению в углу девушке. Никита ошарашенно поглядел на нее, спросил:

– А что, собственно, случилось?

Но ему никто не ответил; Марина Васильевна с остервенением взялась за новую жертву.

– Так, значит, ты последняя выходила с занятий? – спросила она и вдруг гаркнула: – А ну встань, когда с тобой разговаривает директор!

Лица поднялась из-за парты, сумрачно глядя на разбушевавшуюся тетку.

– Я, – кивнула она.

– Значит, ты видела, кто испоганил мне машину? Видела, а? Отвечай!

С выкрашенных малиновой помадой губ директрисы брызгала слюна, Лица невольно утерлась тыльной стороной ладони, и выщипанные брови Марины Васильевны гневно изогнулись, словно ей только что нанесли величайшее

оскорбление.

– Видела? – повторила она.

– Нет, – помотала головой Лика и, опустив глаза, уставилась в облувленную крышку парты.

– Как это не видела? – не унималась Марина Васильевна. – Должна была видеть! Не смей врать! Отвечай, кто поцарапал мою машину!

Лика поймала отчаянный взгляд Машки, взглянула на сторбившегося на стуле Валерку и решительно отрезала:

– Не знаю! Я ничего не видела.

– Ах так, – зашласть от возмущения директриса. – Ну, значит, это ты сама и сделала! Я всегда знала, что от тебя можно этого ждать. Сразу видно, злая, скрытная девчонка, так и зыркает глазами туда-сюда, так и смотрит, какую бы подлость сделать. А ну, собирай свои вещи, и чтоб духу твоего не было в студии!

Марина Васильевна не отступала, и Лика, помедлив немного, собрала сумку, повесила ее на плечо и, опустив голову, двинулась к выходу из кабинета. Ребята за спиной молчали, очевидно, радуясь, что буря нашла наконец на кого обрушиться, пройдя мимо них стороной. Уже в дверях Лика почувствовала смущенный и сочувственный взгляд Никиты, но обернуться не смогла, просто ушла, тихо притворив за собой дверь.

На душе было гадко. Жгла глаза незаслуженная обида, возмущало предательство соучеников, Машки и Валерки,

не пожелавших признаться в преступлении, но страшнее всего было то, что отныне единственное, что составляло ее жизнь, что заставляло по утрам вскакивать с постели и улыбаться новому дню, оказалось для нее под запретом. Не видеть Никиту, не разговаривать с ним, не затаивать дыхание, когда он подходит близко. Да и к тому же осознавать, что отныне он всегда будет считать ее мелкой пакостницей, способной из врожденной беспричинной злости испортить чью-то вещь.

Без студии, а главное, без Никиты, жизнь сделалась пустой и ненужной. Ли́ка приходила из школы, ложилась на кровать и часами разглядывала выцветший узор на обоях, водила пальцем по хитросплетениям травинки и цветов. Рассказать о своей утрате ей было некому. Закадычными подругами она, по замкнутости характера, так и не обзавелась. С матерью, изредка навещавшей родное дитя, тоже так и не установилось духовной близости. Да к тому же та сейчас как раз готовилась воспроизвести на свет Ли́киного братца. Ли́кин отчим, именовавшийся в бабкином доме не иначе как голодранец, сподобился наконец-таки опровергнуть свое обидное прозвище. По случаю написал портрет какого-то деятеля из верхов. Работа понравилась, художника пригласили снова, и жизнь вдруг пошла на лад, появилась и квартира в центре Москвы, и деньги. И мать, пятнадцать лет ходившая в драных колготках, приделалась, расцвела и озаботилась проблемой произведения на свет потомства – спешила, как бы не опоздать, успеть, носилась со своей беременностью как сумасшедшая. На Ли́ку же, и так занимавшую не самое большое место в ее жизни, теперь времени совсем не осталось. И, конечно, разбираться, почему дочь часами лежит носом к стене, матери было некогда.

Бабка же не дремала, по-ястребиному закурила, высмат-

ривая, кто обидел внучку, и в конце концов вытянула-таки из Лики рассказ о ее злоключениях. Вытянувши, разъярилась, распушила перья и ринулась в бой. Позвонила кому-то из дедовских однополчан, подняла на уши все «солидные» знакомства и, в качестве финального аккорда, самолично заявила в студию. Лика о бабкиной подрывной деятельности не знала; о том, как грозная старуха вцепилась в случайно попавшегося ей в коридоре Никиту и вывалила на него все, что думает о губителях и угнетателях бедной больной сироты, не ведала; о звонке в студию откуда-то сверху, после которого директриса тряслась и пила валокордин, не подозревала. И когда в квартире вдруг раздался телефонный звонок и из трубки с ней поздоровался Никита Андреевский, готова была поверить в самые настоящие чудеса.

– Это Элеонора, которую все зовут Лика? – весело осведомился Никита.

– Да... – растерянно протянула она, чувствуя, как от одного звука его голоса вдоль позвоночника бегут мурашки.

– Ну, что же вы, Лика-Элеонора, совсем нас забросили, на занятия не ходите? У нас ведь премьера спектакля в сентябре, а вы еще финальный танец не отрепетировали. Как же так?

– Но я же... Меня исключили...

– Да что вы, бросьте, не берите в голову. Это просто недоумение. Мы здесь уже давно во всем разобрались. Никто вас не исключал. Приходите завтра на занятия, слышите?

Приходите обязательно. На вас вся надежда.

Как же летела она на репетицию на следующий день! Как легко перепрыгивала через лужи, улыбалась слепившему глаза умытому дождем солнцу, размахивала сумкой с черным балетным трико. «На вас вся надежда!» – так он сказал. Господи, неужели он выделил ее из всех, заметил, запомнил?

– Лика, задержитесь на полчаса, если возможно, – сказал Никита после репетиции. – Мне хотелось бы с вами отработать одну вариацию. Вы же много пропустили. . .

И Лика осталась с ним наедине, в балетном классе, прижалась спиной к зеркальной стене, сияя на своего принца счастливым взором. В коридоре постепенно стихали развеселые голоса студийцев. Никита подошел к ней, откинул со лба прядь пепельных волос. Лика, встретившись с ним глазами, вдруг потупилась, прикусила губу.

– Вы, Лика, я вижу, стараетесь, занимаетесь всерьез, – начал Никита, по привычке уперев левую руку в бок, машинально поставив ноги в третью позицию. – И у вас неплохо получается. Как вы думаете, что, если нам финальный эпизод немножко изменить, сделать поинтереснее? Включить элементы модерна, а? У вас же от природы великолепный слух! Как думаете, сможете? Только предупреждаю, работать придется много.

– Я смогу, – отчаянно закивала Лика. – Я буду, буду ра-

ботать! Я все сделаю.

– Ну и прекрасно! – широко улыбнулся Никита. – Тогда давайте попробуем.

Он щелкнул кнопкой бабинного магнитофона.

– Сначала стаккато, выходишь на одну восьмую. Появляешься в левой кулисе, а в центре сцены стоит твой возлюбленный. Понимаешь, ты любишь его, и в твоей пробежке зритель должен увидеть, что ты страдала, ждала и наконец дождалась. Здесь и скорбь, и радость, и безумная любовь.

Лица, как замороженная, слушала своего маэстро. Ей казалось, что, если бы на сцене, высвеченный софитом, стоял Никита, ей не понадобилось бы ничего играть, все чувства, о которых он говорил, проявились бы сами собой.

– Стоп! Нет, не так!

Никита подскочил к ней, взмокший, со сверкающими из-под спутанных светлых прядей ясными глазами.

– Ну это же просто, сколько можно повторять? Мне было бы уже стыдно...

Он отошел к воображаемому левому краю кулисы, раскинул руки и двинулся вперед, ведомый музыкой. И в этом его движении было столько страсти, тоски, любви и преданности, что Лица оцепенела – перед ней впервые разворачивалось настоящее искусство.

Занятие шло уже два часа, за окном давно стемнело, черное трико вымокло от пота. Лица уже не чувствовала вол-

нения от его прикосновений, не замирала. От усталости она почти перестала соображать, двигалась машинально, вся, казалось, превратившись в клубок ноющих мышц. Никита же словно ничего не замечал, снова и снова заводил хриплую пленку, носился вокруг нее, показывая движения, кричал, хватался за голову. Завхоз Михалыч дважды уже заглядывал в помещение, многозначительно поглядывал на часы, Никита же лишь отмахивался от него:

– Мы еще не закончили! Позже!

Ли́ка впервые видела его таким – распаленным, фанатично увлеченным работой. Смотрела на него одновременно с восторгом и страхом. Казалось, этот огонь, полыхавший в нем, сейчас перекинется на нее, опалит, сожжет дотла. В то же время она отчаянно боялась, что этот вечер все-таки закончится... может, это просто сон, все это ей снится – и Никита, и его неожиданное внимание к ней. Она проснется снова в своей комнате с ощущением постоянного одиночества, ненужности и вселенской тоски...

Ли́ка постаралась сильнее выгнуться, как показывал Никита, запрокинула голову назад. В колене вдруг что-то хрустнуло, она охнула от боли и едва не упала, в последний момент ухватившись за Никитино плечо.

– Ой, извините, – прошептала она, пытаясь отдышаться.

Никита словно очнулся, бережно довел ее до скамейки, усадил, присел рядом.

– Тьфу ты, прости меня, ради бога, совсем тебя загонял.

Ты как, жива?

– Вроде бы, – неуверенно улыбнулась Лика, потягиваясь.

– Но здорово ведь мы придумали с этим танцем, правда? Такого еще никто не ставил. Модерн и классика. Отлично получится! Эх, вот если бы... – он осекся и махнул рукой. Затем обернулся к Лике. – Ты голодная, наверно? Хочешь, пойдем мороженого поедем? После такой репетиции можно.

И Лика, не веря в то, что все это на самом деле происходит с ней, что сказочный принц Никита приглашает именно ее, незаметную, некрасивую, никому не нужную больную девочку, в кафе, лишь молча кивнула.

За стойкой тяжело наигрывал старый катушечный магнитофон. На темных окнах отражались разноцветные блики от укрепленной под потолком елочной гирлянды. Вдоль стен расположились какие-то странные керамические фигуры.

Лика и Никита сидели за круглым металлическим столиком. Никита сидел с прямой спиной, при этом умудрившись грациозно подогнуть левую ногу под себя. Дюралевое кресло неприятно холодило Ликины ноги под коленками. Официантка только что поставила перед ними две вазочки, в которых кривоватым айсбергом оплывало мороженое.

– Вот представь себе, – говорил Никита. – Это ведь не просто какое-то хобби, даже не профессия, нет. Это твоя жизнь. У кого-то семья, работа, дом, друзья, дети. А у тебя – только балет. И это твой осознанный выбор. Для всех других ты ин-

валид, практически неполноценный человек. Понимаешь?

– Понимаю... это я понимаю...

– Он сожрал тебя с головы до ног, ты им болеешь, ты им живешь. И, главное, у тебя ведь неплохие идеи, и все это признают, даже эти там, – он махнул рукой куда-то вверх. – И ты сам это знаешь. Но вот нельзя, понимаешь? Кто-то где-то там решил, что классику ставить можно, а весь этот вот модерн – нельзя. Не вписывается в идеологию, черт бы их взял.

Он со злостью стукнул ребром ладони по столу, едва не смахнув на пол вазочку с мороженым, криво усмехнулся и залпом опрокинул полную рюмку коньяку. Лица сидела напротив, затаив дыхание. Впервые он разговаривал с ней так – серьезно, откровенно, словно она была не просто случайной знакомой, девочкой из студии, а его давним и близким другом.

– Никита, но разве... – осторожно начала она. – Мне казалось, это должно быть такое счастье – когда выходишь на сцену и даришь людям себя, раскрываешься перед ними. И каждый в огромном зале, каждый, хочет стать таким хоть на минуту, но не может...

– Счастье, – скептически вскинул брови Никита, оторвавшись от своих мыслей, впервые внимательно поглядев на Лиду. – Что ж, может быть оно и есть, на сцене... Но ты хоть представляешь себе, что за этим стоит? Нет, я даже не про репетиции сейчас. Я про всю эту гадость и гниль, в кото-

рой приходится существовать ежедневно. Про это смердящее, засасывающее болото... Про всех этих художественных руководителей, воинствующих бездарностей... Про всю эту кодлу, которая постоянно шепчется у тебя за спиной, высматривает, вынюхивает, строчит доносы. А... – Он махнул рукой. – Тебе, должно быть, все это неинтересно.

– Очень интересно. Рассказывайте, пожалуйста! – возразила Лика, не отрываясь глядя в его бархатистые, сейчас кажущиеся аквамариновыми глаза, затененные прямыми черными ресницами.

– Да что рассказывать, – пожал плечами Никита. – Просто была мечта, понимаешь? Поставить что-то свое, новое, такое, чего в этой стране никто еще не видел. Ходил, обивал пороги, писал прошения, выпрашивал подписи чинуш. Наконец вроде все срослось, разрешили начинать репетиции. Несколько месяцев не спишь, не ешь, только об этом и думаешь. А на генеральном прогоне, за день до премьеры, худсовет берет и закрывает постановку. И сразу же начинается за спиной шу-шу-шу, и смотришь вдруг, а на твои роли уже второй и третий состав введен. И все, ты в опале, и каждая сволочь, которой ты когда-то дорогу перешел, теперь норovit этим воспользоваться и окончательно тебя прикончить.

Никита рассеянно зачерпнул ложкой растаявшее мороженое, медленно перевернул ее над вазочкой и смотрел, как скатываются и расплываются на металлическом дне тяжелые белые капли. Лика осторожно спросила:

– Поэтому вы так возитесь с нами, да? Потому что в студии нет художественного совета и можно ставить все, что хочется?

– Ну, в этом ты ошибаешься, все, что хочется, у нас в стране нигде ставить нельзя, – усмехнулся Никита. – Но вообще ты права, в студии надзор гораздо слабее. Подумаешь, детишки занимаются танцами, какой от этого может быть вред. Это тебе не передовой фронт балетного искусства всего СССР. Да, Лику, мне с вами интересно, потому что вы настоящие, чистые, у вас на репетициях глаза горят, вам и самим хочется сделать что-то красивое, новое, а не просто выдвинуться на главную роль и вырвать Госпремию.

Он неожиданно протянул руку и положил ладонь на ее плечо, мягко улыбнулся:

– И в тебе этого живого интереса, кажется, даже больше, чем в других ребятах. Я же заметил, как ты первая прибегаешь всегда на занятия, а уходишь позже всех.

Лику бросило в жар, к щекам прилила кровь, и девушка невольно склонила голову, стараясь спрятать пылающее лицо, чтобы Никита не догадался, что не только занятия так влекут ее в студию.

– Я стараюсь... – невнятно выговорила она, не решаясь поднять на него глаза.

– Я вижу, – кивнул Никита. – Молодец! Если и дальше так будешь, на постановке в сентябре тебя ждет триумф, – он засмеялся. – Незабываемое выступление прекрасной де-

бютантки Элеоноры.

Ли́ка тоже рассмеялась, чувствуя, как отступает сковавшее ее мышцы напряжение, с облегчением откинула голову, встряхивая черными волосами. Никита посмотрел на часы.

– Поздненько уже. Пойдем, доведу тебя до метро.

И Ли́ка неохотно поднялась из-за стола и двинулась вслед за Никитой к дверям. Так не хотелось, чтобы кончался этот волшебный вечер, чтобы уходил куда-то в темноту прекрасный сказочный принц с открытой задорной улыбкой и грустными аквамариновыми глазами. Она чуть помедлила у дверей, любуясь его плавными отточенными движениями, гибкостью и легкостью, заметными при каждом шаге, при малейшем повороте головы. Никита обернулся и махнул ей рукой – мол, где ты, чего не идешь. И Ли́ка поспешила к выходу.

...Это было совершенно небывалое, удивительное лето. Лето, почти целиком состоящее из тяжелых, выматывающих репетиций – не только уроки хореографии, но и сценическая речь, фехтование, самый главный из предметов – драматическое искусство, который вел бородатый и бескомпромиссный гений, заслуженный артист, по совместительству один из молодых режиссеров Театра имени Вахтангова, Глазов Владимир Петрович. Многие студийцы жаловались на усталость, ворчали, что студия отравила им все каникулы. Ли́ка же нисколько не жалела ни о потерянном летнем отды-

хе, ни об отмененной в последний момент поездке на море. Каждое утро, едва открыв глаза, она подскакивала на постели, радостно улыбаясь и обхватывая себя за плечи – сегодня они снова увидятся. Каждый день приносил новую встречу, новую возможность побыть с ним, пройти рядом в танце, чувствуя на своей щеке его прерывистое дыхание. А вечером, если он не будет занят, может, снова удастся остаться наедине, брести вместе по темным опустевшим улицам, болтая обо всем на свете. Порой Лике казалось, что она ловила на себе Никитин пристальный взгляд, и было в нем что-то особенное, глубокое, затаенное. Так он не смотрел больше ни на кого из учеников.

Поверить в то, что она, жалкий заморыш, никому не нужный неполноценный подросток, может вызвать в сияющем и недоступном Никите какие-то особенные чувства, было трудно. И все же где-то в глубине, тщательно спрятанное от всех и даже от самой себя, что-то сладко вздрагивало и замирало под этим его взглядом, и появлялось непривычное волнующее, кружащее голову ощущение – на меня смотрит мужчина, которому я нравлюсь.

Лето катилось под откос, уже выгорела и запылилась трава во дворе студии, в кудрявых ветвях берез появились первые золотистые пряди. Постановка была почти отрепетирована, к дверям здания пришпилена красочная афиша, приглашающая всех желающих на премьеру. И Лика почему-то уверилась в том, что все у них с Никитой решится после спек-

такля. И сердце дрожало и проваливалось каждый раз, когда она вычеркивала в настенном календаре дни, оставшиеся до премьеры.

Свет над сценой на мгновение померк и вдруг вспыхнул с новой силой. Над головой что-то заскрипело – Лика знала, что это рабочий сцены запускает сложный механизм, – и зал ахнул, потому что перед зрителями затрепетали и взметнулись вверх алые паруса. Целый месяц они всей студией обсуждали, какой купить шелк, как правильно раскроить его, как натянуть на специальные металлические крепления, чтобы в финале спектакля паруса легко и красиво развернулись над освещенной площадкой.

– Ничего не бойся! – шепнул Никита и сжал ее руку.

Она почти не видела его в темноте, за кулисами, ощущала лишь исходивший от него жар, чувствовала прикосновение сильной гибкой руки.

– Вперед! – отрывисто скомандовал он.

И Лика, замороженная, загипнотизированная его голосом, двинулась туда, где скрипела стульями, перешептывалась, дышала невидимая в темноте масса зрительного зала. Оказавшись на сцене, Лика замерла от ужаса, впервые ощутив перед собой живую, пульсирующую страшную пропасть. Заиграла музыка Дебюсси – это Валерка там, за кулисами, нажал кнопку магнитофона, руки Никиты легли на ее талию, аквамариновые глаза, необыкновенно серьезные сейчас, остановились на ее лице. И все вокруг словно померкло,

испарилось, ничего не осталось, кроме этих его сосредоточенных, внимательных глаз, сжатых губ, кроме его рук, настойчиво и властно влекущих ее куда-то. И все, что оттачивали на бесконечных репетициях, вылетело из головы, Лика повела плечами и вдруг словно полетела над сценой, повинаясь звукам музыки и рукам ведущего ее танцовщика.

Как легко все это оказалось теперь, будто и не было много-часовых изматывающих занятий. Как ловко и радостно было двигаться в такт с ним. Какая удача, что Мишка, ее партнер по спектаклю, в последний момент свалился с ангиной, и Никите пришлось заменить его на премьере. Казалось, она могла бы всю жизнь вот так парить, глядя в его бледное сосредоточенное лицо, чувствуя, как цепкие пальцы сжимают ее руку, не давая ошибиться. Лика едва заметно, краешком губ улыбнулась ему, но Никита не ответил на ее улыбку. И внезапно она поняла, что он сейчас не видит ее, полностью погруженный в гармонию музыки и танца. Он словно не человек теперь, не молодой смешливый хореограф Никита, он древний языческий бог танца. И Лика на мгновение позавидовала этой его фанатичной увлеченности, этой способности самозабвенно отдаваться делу всей своей жизни. Показалось, что нет ничего прекраснее такого вот беззаветного служения искусству, нет участи лучше, чем отдать себя без остатка, сгореть дотла. И Лика вдруг отчетливо поняла, что хочет последовать за Никитой в этот прекрасный, волшебный мир, дверь в который он ей приоткрыл, хочет всегда

ощущать на себе невидимую пульсацию, исходящую из темной пропасти у сцены. Решено, она будет актрисой...

Отзвучали последние аккорды, музыка стихла, и Никита разжал руки. Пропать ожила, забурлила, захлопала. Лика, счастливая, сияющая, присела в изящном поклоне и улетела за кулисы.

Но магия, окутавшая их с Никитой во время выступления, не закончилась и после спектакля. Она мерцала и струилась в сыром осеннем воздухе, когда шли вдвоем по промокшему темному бульвару, сбежав с развеселой студийной гулянки. Она поблескивала на зеленовато-сером платье, которое Лика сама строчила на бабкином довоенном еще «Зингере» и расшивала бисером для своей Ассоль. Она углубила бархатные глаза Никиты, мягкими тенями легла на четко очерченные скулы, сделав его еще больше похожим на бесстрашного романтического капитана Грея.

Под ногами – размокшие кленовые листья, капли мелкого злого дождя стекают по щекам, но все это неважно – лишь бы идти рядом, прижимаясь к его плечу, вдыхать влажный прохладный воздух, от которого так сладко и тревожно щемит сердце, молчать, прислушиваясь к звуку его шагов. Дождь распугал всех, и мокрые скамейки под деревьями стояли пустые. Вода в еще не забранном досками на зиму круглом фонтане шуршала, вторя дождю. Впереди, освещенные размытым светом фонарей, проносились по улице Горького редкие автомобили. С противоположной стороны понимающе

кивал укрытый от дождя плащом бронзовый Пушкин.

На углу бульвара Никита поймал такси, назвал водителю Ликин адрес. В тесноте заднего сиденья, когда они неожиданно оказались плотно прижаты друг к другу, стало почему-то неловко смотреть на него, да что там, просто пошевелиться, отвести рукой прядь волос с лица было почему-то невозможно. Автомобиль тряхнуло, Лику швырнуло вперед, Никита удержал ее, обхватив руками за плечи. Она чуть повернула голову, хотела поблагодарить и вдруг осеклась, увидев прямо перед собой его глаза, совсем другие теперь, не серьезные и сосредоточенные, а словно манящие куда-то, поблескивающие темным лихорадочным огнем. Он наклонился к ней еще ближе и коснулся губами ее рта, медленно, осторожно, словно пробуя ее губы на вкус. Лика почувствовала, как задрожали прижатые к его груди пальцы, как гулко заколотилось в груди сердце, казалось, его стук должен был раздаваться на весь пропахший бензином салон автомобиля. Никита, не отрываясь от ее губ, сжал руками голову, погрузив пальцы в ее темные влажные от дождя волосы, потом чуть отстранился, вглядываясь в ее лицо. Лика вскинула руку и осторожно провела кончиком пальца по его колючим черным ресницам; Никита тихонько рассмеялся и прижался губами к ее ладони.

Такси остановилось у подъезда ее дома. На пятом этаже тускло светилось окно кухни – значит, бабка еще не спит, ждет ее. Переживает, наверно, бедная, что не смогла приий-

ти на выступление внучки из-за не вовремя подскочившего давления. Ничего, еще чуть-чуть, пять минут...

Они остановились на ступеньках подъезда. Старый фонарь с надтреснутым молочно-белым стеклом высветил из сырой темноты их сплетенные руки, склонившиеся друг к другу головы. Никита в последний раз поцеловал ее и отпустил, чуть оттолкнул даже:

– Ну иди, иди! Иначе я всю ночь тут простою. Ромео под балконом!

Ли́ка услышала его тихий смех в темноте, обернулась уже от дверей:

– До завтра?

– До завтра. Я тебе позвоню.

Из подъезда под ноги метнулась ободранная соседская кошка. Ли́ка взлетала по ступенькам, уже не обращая внимания на неистовый грохот в висках, не пытаясь сдержать расплывающуюся на лице глупую счастливую улыбку. Неужели впервые в жизни строгий надзиратель, отмеряющий каждому его долю счастья, что-то перепутал и по ошибке вручил Ли́ке чужой счастливый билет? Страшно, страшно было даже подумать об этом, представить себе это незаслуженное, украденное, не по праву доставшееся ей счастье.

Ли́ка вошла в квартиру, перебросилась парой слов с подозрительно глянувшей на нее продмагшей, закрылась в комнате и без сил упала лицом в подушку. Ей, конечно, и в голову не могло прийти, что умудренная опытом и кое-чему на-

ученная дочерью бабка, разумеется, подсмотрела всю сцену прощания у подъезда со своего наблюдательного поста у окна кухни и теперь вознамерилась во что бы то ни стало выяснить, что за хитрый змей морочит голову ее единственной внучке, дорогой кровиночке.

...Назавтра Никита не позвонил, не объявился и послезавтра тоже. Лика боялась пропустить его звонок – не выходила из дома, не закрывалась в ванной, телефонный аппарат утащила к себе в комнату и, ложась спать, придвигала его поближе к кровати. Но звонка все не было. Танцкласс в студии был закрыт, Марина Васильевна, все еще недолюбливавшая Лиду после той, весенней, истории, отрезала:

– Андреевский? Он на больничном. Не знаю, когда будет.

Лике удалось все же выпросить у нее домашний номер Никиты, пришлось наврать, что брала у него книгу по истории балета, обещала вернуть в срок, и вот, такая неприятность. Директорша, пожевав намазанными сиреневой помадой губами, телефон ей дала, и Лика бросилась в ближайший магазин разменивать двушки. Она и сама не знала, на что надеялась. Ведь, кажется, все было ясно – захотел бы он найти ее, никакая болезнь бы не помешала. А раз пропал, исчез, значит... Но думать об этом было слишком страшно, и Лика, забившись в красно-белую телефонную будку, набирала номер, с трудом попадая дрожащими пальцами в отверстия диска. Трубку сняла женщина.

– Будьте добры Никиту, – растерянно пролепетала Лика.

– Никиту? – настороженно спросила та. – Он... уехал.

Что-нибудь передать? Кто его спрашивает?

– Это Лика. Я... Он у нас в студии танцы преподает, – принялась объяснять Лика. – Я хотела узнать насчет занятий.

– А, из студии... – Показалось, или голос женщины зазвучал спокойнее? – Девушка, вы знаете, Никита Владимирович вряд ли в ближайшее время вернется в студию. Почему? Ну... так складываются обстоятельства. До свидания.

«Вот, кажется, и все. Что теперь делать? Где искать его, куда бежать?» – думала Лика, понуро бредя домой. А может, и не было того вечера, а? Приснилось, привиделось, померещилось? Может, и не было самого Никиты никогда в ее жизни? Поверить в это было бы легче, чем допустить, что прекрасный, как сказочный принц, талантливый, волшебный Никита мог и в самом деле увлечься ею. И все-таки, все-таки каждый раз, заходя в квартиру, Лика упорно спрашивала:

– Мне никто не звонил?

Пока бабка не взорвалась однажды:

– Да от кого ты звонка-то ждешь? От этого своего педераста, прости господи?

Сказала, словно пощечину влепила. Лика даже отшатнулась, вспыхнула, выговорила с трудом:

– Баб... ты... ты что?

– Я что? – взбеленилась Нинка. – Думаешь, я про него

не узнавала? Как же, позволю я всякой швали девчонку-малолетку развращать. Позвонила я кому надо, поговорила, мне такого про твоего Никиту порассказали, что волосы на башке до сих пор шевелятся. Мало ему, значит, жены, ребенка, так он, стыд-то какой, на мужиков еще заглядывается. У, балеруны чертовы, ни стыда ни совести! Ну ничего, сейчас его шашни выплыли наружу, из театра-то его турнули, да теперь, может, еще и посадят.

– Бабуля, ну это же бред! – отчаянно вскричала Лика. – Ты же не знаешь его совсем. Тебя обманули, это сплетни все.

– Обманули, как же! – не унималась бабка. – Да там весь театр гудит – еще бы, позорище такое. А я-то, дура старая, еще к нему ходила – пожалейте, мол, ребеночка, инвалид она, сиротка бедная, возьмите к себе в обучение. А он вишь че удумал, голову тебе заморочил, небось чтоб подзрения от себя отвести, содомист, мать его...

– Куда ходила? К кому ходила? – опешила Лика.

– Да вот, когда жаба эта чертова из студии тебя поперла, – пояснила Нина Федоровна. – Ходила я к нему, извращенцу поганому, просила за тебя, пороги обивала. Ох, да если бы знала, что он за шваль такая, я бы ему в рожу плюнула, а тебя под замок заперла. Ишь чего, плясун, жопа мандолиной!

– Замолчи! Замолчи, ради бога! – уже не сдерживаясь, в слезах выкрикнула Лика и, развернувшись, бросилась к себе в комнату.

Слова разбушевавшейся бабки словно перечеркнули, из-

мазали грязью все светлое, с чем ассоциировался Никита, перевернули с ног на голову. Господи, да как могла она быть такой восторженной самовлюбленной дурой! Как могла подумать, что он и в самом деле смотрит на нее, любит, что думает о ней, хочет быть рядом. Как могла допустить эту идиотскую фантазию, что такой парень, как Никита, влюбится в нее, жалкую, некрасивую, больную девчонку. Выходит, он просто жалел ее? Конечно, так все и было! У него ведь жена, ребенок, бабка сказала... Значит, и занимался он с ней, и разговаривал, и домой провожал из жалости. Как же, убогонькая, болезная! А тот вечер, последний, когда она видела его... Что это было? Тоже жалость? Бабка сказала, что он использовал ее, чтобы отвести от себя какие-то ужасные подозрения. Да что это за слово такое, что оно значит и почему Никите теперь угрожает тюрьма?

И Лика стащила с книжной полки толстый том словаря иностранных слов и принялась лихорадочно листать его, отыскивая незнакомое слово «педераст». Нашла слово «педерастия». Прочитав, что оно означает, она в ужасе захлопнула книжку. Как это? Никита и другой мужчина? Такое настолько не укладывалось у нее в голове, что она сразу же решила для себя, что все это чья-то ужасная извращенная фантазия, которой бабка по своей любви к сплетням, конечно же, сразу поверила. Однако, как бы там ни было, факт оставался фактом, Никита, по всей вероятности, относился к ней совсем не так, как она себе нафантазировала.

Лику казалось, что ее бедная голова сейчас расколется, пойдет трещинами от невозможности уместить в ней, уяснить для себя всю эту грязь и мерзость. Ее измученное, издерганное сознание лихорадочно искало какой-то выход, возможность узнать правду. И в конце концов она решилась. Что ж, раз так, она спросит у него самого. Пусть посмотрит ей в глаза, пусть в лицо скажет – да, ты мне совсем не нужна, ты никогда не была мне интересна. Или, может быть, даже так – да, ты мне нужна, но только для прикрытия... Должно же у него хватить на это смелости.

И Лику разузнала адрес – на этот раз уже не связывалась с Мариной Васильевной, попросту пробралась тайком в учительскую и переписала улицу и номер дома из папки со сведениями о сотрудниках – и отправилась караулить своего прекрасного принца, даже не зная, что невольно повторяет историю собственной матери.

Целый день у чужого подъезда. Старый дом из красного кирпича, одинаковые окна, три ступеньки к двери и тусклая лампочка над крыльцом. Пустынный вымокший двор, облезшая песочница под жестяным грибком, дребезжащая на ветру металлическая урна. По улице снуют туда-сюда торопливые пешеходы с сумками и баулами – неподалеку Савеловский вокзал. Спину ломит от многочасового сидения на колченогой скамейке, руки в карманах куртки посинели от холода, губы дрожат. Встать, пройтись вдоль дома, размять за-

текшие ноги, поймать на себе несколько недоуменных взглядов – еще бы, ошивается тут столько времени, что за безумица. И снова на скамейку, покрасневшие от напряжения глаза прикованы к двери подъезда – только бы не упустить его.

Андреевский появился лишь на третий день, ближе к ночи, когда Лика уже отчаялась увидеть его и почти смирилась, что смутивший ее покой светлоглазый принц исчез из ее жизни навсегда. Было темно, редкие фонари слабо освещали переулочек, оставляя страшные провалы между домами. Где-то вдалеке промчалась, тревожно сигналив, «Скорая помощь», отрывисто хлопнула дверь подъезда, и Лика вдруг увидела его. Не узнала, не разглядела в темноте, а почти угадала по легкой пружинистой походке, по точным, будто выверенным, движениям.

В груди у Лики подпрыгнуло и заколотилось, и она уверенно бросилась наперерез темной фигуре, осторожно вышедшей из подъезда.

– Никита!

Он шарахнулся от нее, словно от зачумленной, затем взгляделся внимательнее.

– А, это ты... Чего тебе?

– Никита, я... Нужно поговорить, я спросить хотела...

Он напряженно вглядывался в темноту, проводил глазами медленно проехавшую по переулку машину, бросил отрывисто:

– Мне некогда сейчас, некогда, извини!

Попытался отстранить ее, пройти мимо; Ли́ка же отчаянно вцепилась в рукав его пальто, почти выкрикнула:

– Но почему?

– Да ты совсем ничего не понимаешь, что ли? – со сдерживаемой неприязнью, сквозь зубы процедил он. – Говорю же, я не могу сейчас с тобой разговаривать. Пусти! – Он с силой вырвал из ее скрюченных пальцев рукав пальто. – Не ходи за мной! Поняла? Это для твоей же пользы!

Выговорил и ускользнул прочь по темному переулку. Ли́ка успела еще увидеть мелькнувшую под фонарем стройную фигуру – и Никита исчез, словно и не было его никогда. Что ж, оставалось лишь идти домой, под крыло к неусыпно бдящей бабуле, вовремя разузнавшей, что волшебный принц оказался лишь фантазией, придумкой жалкого одинокого подростка. Сказка рассыпалась, разбилась на мелкие осколки, Золушка не стала принцессой, царевна Лягушка не превратилась в красавицу. Принц сказал: «Не ходи за мной! Мне некогда!» – и бросил одну промозглой осенней ночью. И с ее стороны было безумием надеяться на какой-то другой финал. Ведь знала же, знала, что жизнь всегда отнимает самое дорогое. Знала, что для таких, как она, судьба не предусматривала ничего романтического, и все же зачем-то позволила глупым мечтам прочно обосноваться в своей больной голове. Зачем?

Ли́ка, конечно, не могла знать, что история, рассказанная ей Ниной Федоровной и взбаламутившая весь Большой театр, несколько не соответствовала действительности. Донос с обвинениями накатыл на Никиту один из танцовщиков, введенный на его роли вторым составом еще несколько месяцев назад. Но администрация временно положила его под сукно и пустила в дело только сейчас, когда строптивый Андреевский чем-то окончательно рассердил художественного руководителя. Мгновенно нашлись и свидетели Никитино непристойного поведения, и желающие также выступить на процессе в роли жертв его домогательств. Разразился нешуточный скандал, вмешались органы, театр гудел, как растревоженный улей. Немногочисленные друзья настоятельно советовали Андреевскому попытаться найти лазейку и при первой возможности эмигрировать на Запад. И, конечно, озлобленному, затравленному Никите, вынужденному скрываться, боявшемуся стать жертвой очередной провокации, было сейчас не до Ли́ки. Как бы ни заинтересовала его трогательная влюбленная девочка с настороженными зелеными глазами, позволить себе какие-то увлечения сейчас, когда следовало оставаться предельно собранным, внимательным, чтобы попробовать все-таки расплести этот образовавшийся вокруг него клубок, было нельзя.

За окном электрички тянулись однообразные, погребенные под снегом поля, серые деревенские домишки. Деревья топорщили в бесцветное небо голые ветки. Изредка мелькали железнодорожные платформы, все одинаковые, ничем не различимые, и Лика напряженно вглядывалась в названия станций, чтобы не пропустить нужную. По пустому, раскачивающемуся из стороны в сторону вагону гулял ветер. Девушка зябко куталась в свое тонкое черное пальто. Здесь, за городом, зима была настоящей – безмолвной, холодной и страшной. И еще страшнее было оттого, что ехала Лика в неизвестное место, искать чужую незнакомую дачу, чтобы увидеть человека, который при последней встрече ясно дал ей понять, что видеть ее больше не хочет.

Она честно пыталась это пережить, забыть в учебе, в повседневных простых делах. И думала даже, что ей это все-таки удалось. Ведь почти полгода прошло с того промозглого осеннего вечера. Студию она сразу же бросила, и, казалось бы, ничто больше не должно было вызывать у нее воспоминаний о прекрасном принце. И все-таки, когда случайно встретила Валерку и тот, пересказывая ей последние сплетни, упомянул, между прочим, что бывшая восходящая звезда советского балета Никита Андреевский, говорят, живет теперь где-то за городом, на даче у приятеля, сердце у нее

в груди сделало сумасшедший кульбит и гулко ударилось о ребра. И потом, когда осторожно расспрашивала общих знакомых, высматривала, вынюхивала, пытаясь добыть адрес, все равно врала себе, что все давно прошло, она успокоилась и движет ею лишь праздное любопытство. Теперь же, когда нужная станция была все ближе и ближе, Лике впервые пришлось честно ответить себе на вопрос, почему она очертя голову бросилась куда-то в снега разыскивать пропавшего Андреевского. Почему? Да потому что, сколько бы ни строила она из себя сильную личность – гордую, бесчувственную, равнодушную, – там, внутри, все еще билась, пульсировала боль. Эта боль сидела, затаившись, словно куница в засаде, и, стоило ей лишь на мгновение учуять, что жертва не владеет собой, она молниеносно готова была вцепиться железными когтями в горло.

Электричка, заскрежетав, остановилась у очередной платформы, и Лика вышла из вагона. Где-то в стороне, невидимая, хрипло лаяла собака, хмурый дворник в ушанке лениво шкрябал лопатой, сгребая снег. Лика спустилась вниз по узкой обледенелой лесенке, поскользнулась, но успела поймать равновесие, лишь зачерпнув снега сапогом. Снег скоро растаял, и в сапоге хлюпало и чавкало, пока Лика бродила по пустынному поселку, от забора к забору, разыскивая девятую дачу. Наконец остановилась у нужной калитки, потопталась в нерешительности, потерла пальцем облупившуюся голу-

бую краску на досках и все-таки решилась, вошла. Участок был маленький, занесенный снегом, лишь от калитки к одноэтажному, выкрашенному желтой краской домику протоптана была узкая тропинка. Снег под ногами заскрипел, в темном окне домика что-то мелькнуло, взвизгнула дверь, и на крыльцо вышел Никита.

Лица остановилась, смотрела на него, словно оглушенная. Хотелось вобрать в себя, впитать эти родные черты, навсегда запомнить и сохранить. Ведь если Никита сейчас прогонит ее, они, наверное, не увидятся больше уже никогда.

Он стоял на крыльце, странный, совсем не похожий на того энергичного, всех вокруг заряжающего волей к жизни парня, каким Лица увидела его впервые в студии. Грубая телогрейка, накинутая на плечи, скрывала легкость и гибкость фигуры, отросшие волосы и щетина на подбородке делали лицо старше. Стоит, привалившись спиной к деревянному косяку, щурит глаза на снег после полутемного дома – чужой, отстраненный, замкнутый. И все же во всем его облике чувствовалось что-то величественное, особа королевских кровей не теряла достоинства даже в изгнании.

– Привет. – Лица подошла ближе, быстро взглянула на него и отвела глаза.

– Это ты... – констатировал он. – Как ты меня нашла?

– Мне Валера сказал, что ты живешь на даче, – начала объяснять Лица. – Ну, парень, помнишь, из студии. И я тогда решила узнать адрес через...

Никита слушал ее, нахмурившись, кивал, затем сказал сумрачно:

– Значит, пол-Москвы уже знает про дачу. Херово дело...

– Я... я никому не говорила... – растерялась Лика.

Только сейчас ей пришло в голову, что своими поисками, расспросами она, возможно, навредила Никите. Девушка смешалась, потупилась, принялась машинально сбивать носком сапога примерзший к ступенькам снег.

– Можно, я войду? – спросила наконец.

– Не надо. – Никита помотал головой. – Я же все ясно, кажется, объяснил – не ищи меня, не звони. Так всем будет лучше. Уезжай!

Что ж, чудеса не случилось. Да и, в общем, непонятно было, на что она рассчитывала. Что Никита, измаявшись в разлуке с ней, опомнится, поймет, что своими руками отталкивает от себя счастье? Да он наверняка и думать забыл про нее!

И, задохнувшись от сжавшей горло едкой обиды, Лика выговорила с отчаянием:

– Но почему? Что я такого тебе сделала?

Он взглянул на нее и вдруг улыбнулся, тепло, открыто, как раньше, дотронулся рукой до ее лица, заправил выбившуюся из-под шапочки прядь темных волос, сказал мягко:

– Не глупи, ничего ты не сделала. Просто... Так сложилось все, что видеться нам нельзя. И объяснить я тебе, к сожалению, ничего не могу. Нельзя, и все. В жизни иногда так бывает. И маленький совет – постарайся влюбляться в тех,

кто любит тебя, а не наоборот. Так будет гораздо легче, поверь.

Что-то горячее обожгло веки, Лика сморгнула и почувствовала, как по щекам бегут, остывая от холодного воздуха, слезы.

– Ну перестань!

Никита аккуратно стер пальцем слезинку с ее щеки, затем отступил на шаг и взялся за ручку двери.

– Не плачь на морозе, простудишься. – Он улыбнулся.

И Лика грубой шерстяной варежкой стерла слезы, кляня себя за то, что так распустилась, расклеилась перед мужчиной, который – теперь это окончательно стало ясно – никогда не любил ее и не думал даже любить. Так, походя, пожалел бедную сиротку, а потом, когда времени на нее не стало, выбросил из своей жизни без малейшего сожаления. Пригрел, как голодную дворнягу, но брать к себе насовсем и не собирался. Она быстро выговорила «Пока!», развернулась и пошла к калитке, спотыкаясь и проваливаясь по щиколотку в колючий снег. Уже с дороги обернулась на мгновение. Никита все еще стоял на крыльце. Он поднял руку, махнул ей, она же, не отвечая, зашагала к станции.

Веки жгло все сильнее и сильнее, жаром заливало щеки и даже лоб. И Лика прижимала руки к лицу, стараясь успокоиться. Ее знобило, голова налилась тяжестью, клонилась на грудь. Бабка, увидев ее на пороге, ахнула, стащила с Ли-

киной головы шапку и прижала ладонь к горячему лбу. Лика уложена была под три одеяла, напоена чаем с малиной, но озноб не проходил, становился все сильнее. И, проваливаясь в душное забытие, Лика снова и снова шла по снегу к темной фигуре на крыльце, снова и снова скользила и путалась в сугробах. Наутро врач диагностировал у нее левостороннее воспаление легких, и, под причитания продмагши, Лика была отправлена в больницу. Провалилась там долго, несколько недель, а после выписки оказалась под домашним арестом. Дотошная бабуля прикрывала все форточки, искореняя проклятые сквозняки, и за порог Лику не выпускала даже на пять минут. И только уже в апреле, вырвавшись наконец из-под недремлющего ока, Лика смогла узнать что-то о Никите от бывших своих товарищей по студии.

Слухи ходили разные. Кто-то утверждал, что Андреевского посадили – мол, ездили люди к нему на квартиру и видели милицейские печати на дверях, кто-то плел, что Никита спился и подался куда-то на Север. В администрации Большого театра, куда Лика позвонила, отчаявшись что-либо узнать от знакомых, тонкий мужской голос подозрительно спросил ее:

– А вы с какой целью интересуетесь? Имя, фамилию ваши можно узнать?

Как ни удивительно, достоверную информацию снова принесла бабка. Какая-то домработница чьей-то жены, заваривавшаяся в ее магазине с черного хода, подели-

лась сплетней. Слыхали, мол, че делается-то. Плясун-то этот, как бишь его, Андреевский, в загранку сбежал, с женой и ребенком. Вон они че творят, эти танцоры-то, ни стыда ни совести!

И Лика как-то сразу поверила, словно и сама чувствовала, что Никиты в СССР уже нет. И никогда уже не будет. Никогда.

...А жизнь продолжалась. Катился к концу десятый класс, сменяли друг друга экзамены. Одноклассники готовились к выпускному вечеру, девчонки обсуждали наряды, мальчишки – проблемы откоса от армии. Лика же, с тех пор как узнала об отъезде Никиты, сникла, погасла. Ничем не интересовалась, ничего не хотела. Просыпалась по утрам, брела в школу, возвращалась, двигаясь, словно по инерции. Бабка каждый день заводила надоевший разговор о ее будущем, долбила, доказывала, умоляла подумать о себе. Лика же лишь вяло недоумевала – какое будущее, о чем вообще речь, если все, что интересовало в жизни, осталось в прошлом... Разрешилось же все почти случайно.

Лика возвращалась откуда-то, шла к метро по Маяковке и встретила Павла Анатольевича, бывшего дедовского ученика, ныне уже полковника, седого, краснолицего, статного. Тот, узнав ее, разулыбался, демонстрируя крепкие, ровные, белые зубы, предложил, как когда-то в детстве, угостить мороженым. Лика вяло пожала плечами.

– Как поживаешь, Ликусь? Я ведь тебя с похорон, наверное, не видел, – покачал головой полковник. – Да, годы, ничего не скажешь... Тебе теперь сколько?

– Семнадцать.

– Школу, значит, заканчиваешь? – покивал он. – А поступаешь куда? Кем быть, решила уже?

– Да нет, как-то не определилась еще, – ответила Лика.

Этот здоровый, ладный мужик почему-то раздражал ее, действовал на нервы. Столько лет в доме не показывался, а теперь пристал как банный лист – расскажи ему, кем быть хочешь да как жизнь строить собираешься.

– А то, может, по семейной традиции, а? – подмигнул Павел Анатольевич.

– Думаете, из меня выйдет военный летчик? – скептически подняла брови Лика.

Тот захохотал.

– Нет, летчик, это тыхватила, конечно. Но вот насчет военных... Я ведь сейчас в военном институте преподаю, здесь, на Маяковке. У нас факультет военной журналистики есть. Ты как, литературой увлекаешься? Читать-писать любишь?

– Вообще, за сочинения всегда пятерки получала, – растерянно протянула Лика.

– Вот видишь! – обрадовался Павел Анатольевич. – Тут и думать нечего, поступай к нам. Я тебе и с экзаменами помогу, не волнуйся, и не заметишь, как поступишь. Чтоб я да внучку Васильича под крыло не взял, обижаешь...

Военный журналист... Что-то такое сильное, решительное, непреклонное, бесстрашное. Ни пули не страшны ему, ни взрывы. Всегда впереди, «с «Лейкой» и с блокнотом». Стать такой – нестигаемой, железной, храброй. Вымести из души раз и навсегда все эти бредни об искусстве, красоте... о любви. Тебя не любили, не хотели оберегать и защищать, бросали, предавали? Так сделай так, чтобы это больше никому не удалось! Стань независимой и самодостаточной. Чтобы никто и не заподозрил, что ты можешь часами мечтать о том, как откуда ни возьмись появится красивый и сильный папа, что мама перестанет убегать от тебя после двухчасового свидания, что Никита сойдет с крыльца и прижмет твою голову к крепкому плечу, а не прогонит плутать на морозе.

Лица потупилась, машинально разглядывая трещину на асфальте, и спросила бравого краснолицего полковника:

– А когда начинаются вступительные экзамены?

В институт Лика действительно поступила легко. То ли Павел Анатольевич сдержал обещание и замолвил за нее словечко перед приемной комиссией, то ли дедовская фамилия сыграла свою роль, а может, она просто хорошо подготовилась к экзаменам, погрузившись в учебники, чтобы хоть как-то заглушить иссушающую тоску, поселившуюся в груди после отъезда Никиты.

И потянулась студенческая жизнь – лекции, семинары, практические занятия. Компании, вечеринки, попойки. Лика в общих развлечениях участвовала, но ни с кем из ребят особенно не сходилась, близко не дружила, выполняла свою программу по превращению в сильную, самостоятельную личность. Записалась в секцию самбо и исправно посещала занятия, чтобы уметь постоять за себя без расчета на помощь какого-нибудь сильного и заботливого мужчины. Ведь единственный такой мужчина в ее жизни, дед, умер, остальные же – что полумифический отец, нафантазированный образ которого с годами приобрел совсем уж утрированно романтические черты, что прекрасный принц Никита – ясно дали ей понять, что их ее благополучие не заботит. И сына, взрослого, мужественного и решительного сына тоже у нее никогда не будет. Рассчитывать в общем-то не на что, нужно брать жизнь в свои руки.

Так Лика и поступала – училась стоять на своем, самостоятельно решать проблемы, отстаивать свои права. Не боясь, спорила на семинарах с самыми суровыми преподавателями, выполняла сложные задания и решительно отвергла попытки многочисленных однокурсников за ней ухаживать. И в конце концов приобрела среди студентов репутацию «своего парня», лихого и бесстрашного товарища, с которым можно и в поход, и на байдарках, и по душам поговорить.

В сентябре, когда Лика училась уже на втором курсе, студентов отправили в колхоз, «на картошку». Проведя три недели на природе, вдоволь насидевшись у костра, напевшись под гитару, наевшись мутного варева из перловки с тушенкой, Лика вернулась в Москву еще сильнее похудевшая, загорелая, с обветренными губами и охрипшим голосом. На коротко остриженные волосы надвинута защитного цвета кепка, плечи обтянуты толстым шерстяным свитером, на ногах тяжелые альпинистские ботинки – «полуторки». Лика вышла из лифта, сунула ключ в замочную скважину, покорно ожидая причитаний ошарашенной ее брутальным видом бабки, вошла в темную прихожую, замешкалась, пытаясь аккуратно сбросить со спины неподъемный рюкзак. Дверь дальней, бывшей дедовской, комнаты скрипнула, и на пороге появился незнакомый парень лет двадцати пяти. Высокий, широкоплечий, он словно заполнил собой всю узкую прихожую. И Лика мгновенно сориентировалась – вор. При-

кинула, что справиться с ним будет трудно – слишком уж здоровый, но если действовать быстро, брать неожиданно, то можно попробовать.

Парень смерил ее взглядом и спросил:

– Может, помочь? С рюкзаком...

– Да, пожалуйста... – Лика постаралась, чтобы в голосе звучала дружелюбная растерянность.

Незнакомец шагнул к ней, взялся обеими руками за рюкзак, приподнял над ее плечами, буркнул «Ого!» и опустил груз на пол. Не дожидаясь, пока парень выпрямится, Лика резко ударила его коленом в пах. Тот охнул от неожиданности:

– За что?

Но Лика, вспомнив уроки самбо, уже применила прием «бросок через бедро», пытаясь опрокинуть незадачливого грабителя на пол. Однако незнакомец ловко вывернулся, хитрым приемом перехватил ее руки. Лика лишь на мгновение потеряла равновесие, но этого оказалось достаточно, чтобы на пол они рухнули вместе, притом парень оказался сверху, всей тяжестью придавил ее к земле – не пошевелиться. Тяжело дыша, Лика пыталась высвободиться, грабитель же наблюдал за выражением ее лица с нескрываемым веселым любопытством.

Дверь в кухню распахнулась, в прихожую ворвался солнечный луч, и Лика смогла разглядеть, что глаза у парня светло-голубые, цвета чуть выгоревшего июньского неба, во-

лосы оттенка спелой ржи, а на скулах рассыпаны едва заметные бледные мальчишеские веснушки.

– Это что же такое делается? – гаркнула за спиной явившаяся на шум продмагша.

Парень ослабил хватку, и Лика смогла приподнять голову, выглянуть из-за его плеча.

– Ба, ты дома? – удивилась Лика. – А я тут грабителя задержала...

– Кто кого задержал, вопрос спорный, – весело заметил незнакомец.

Он наконец оторвался от Лики, откатился в сторону, и девушке удалось приподняться.

– Ты совсем, я гляжу, очумела, какой это грабитель. – Бабка бросилась почему-то не к любимой внучке, а к парню и принялась тащить его вверх за рукав футболки, приговаривая: – Вставай, вставай, Андрюша. Не убила тебя эта оглашенная? Это же квартирант мой, – обернулась она к Лике.

– Откуда ж мне было знать? – грубовато, чтобы не выдать смущения, ответила Лика, поднимаясь на ноги. – Ты меня не предупреждала...

– А ты уж сама должна понимать, что я деньги не печатаю, а жрать нам с тобой надо, – сурово парировала бабка. – Пенсия у меня не резиновая, стипендия твоя тоже. А тут добрые люди, спасибо, присоветовали – сдай, мол, третью комнату, что она пустует. И парня хорошего подсказали – сам из Ленинграда, доктор будущий, сюда приехал в ординату-

ре учиться. Так, Андрюша? – заискивающе обернулась она к отряхивавшему джинсы парню.

– Так, – покивал тот. – Но вы, Нина Федоровна, меня не предупредили, что у вас тут обстановка такая... напряженная. Придется вам теперь плату мне снизить за моральный ущерб.

Голос его звучал серьезно, в глазах же – Лика это видела – плясали озорные искры. И, к ее удивлению, железобетонная продмагша рассыпалась мелким хрипловатым смехом, погрозила квартиранту пальцем – мол, шутишь все, озорник, потом обернулась к Лике:

– Извинись хоть перед человеком, скаженная.

И Лика, хмуро потупившись, обратилась к Андрею:

– Извините, пожалуйста, я не знала, что вы наш квартирант. Я внучка Нины Федоровны, меня Лика зовут.

Она по привычке резким мужским жестом сунула ему узкую маленькую ладонь. И Андрей обхватил ее своей могучей лапищей и деловито потряс с едва заметной добродушной издевкой.

– Очень приятно завести такое полезное знакомство. С вами, Лика, сразу видно, не пропадешь.

– Это верно, – поддержала шуточный тон она. – Если что, обращайтесь за помощью. Я буду рядом! – И скрылась в своей комнате.

Несмотря на легкую потасовку, состоявшуюся при зна-

комстве, Лика с Андреем быстро подружились. Двадцатитрехлетний их с бабушкой постоялец как-то незаметно вошел в ее повседневную жизнь, сделался обязательным неотъемлемым элементом. И вскоре уже казалось, что он жил здесь всегда – испокон веку насвистывал по утрам в ванной «В бананово-лимонном Сингапуре», безбожно фальшивя, по субботам приносил по Нинкиной просьбе сетки с картошкой и луком с рынка, по ночам наглаживал в кухне на столе свой белый врачебный халат. Словно неожиданно вернулся домой долго отсутствовавший старший Ликин брат, или, чем черт не шутит, объявился вдруг тот, о ком столько было передумано, перечувствовано, нафантазировано – папа.

Как бы там ни было, а друг, настоящий друг – не приятель, перехватить рубль до стипендии, – человек, с которым можно было разговаривать обо всем на свете, хохотать, часами упражняться в словесном фехтовании и обращаться за помощью в любой момент, появился у нее впервые. И Лика, уже не первый год воспитывавшая в себе стойкость и выдержку, даже самой себе боялась признаться, как дорого ценит она эту дружбу.

Они вместе выходили из квартиры по утрам, когда морозная темень даже и не думала еще отступать, давая дорогу хмурому короткому дню, шли через пустынный, занесенный снегом парк к автобусной остановке, чтобы ехать из отдаленного летного микрорайона в центр, учиться. И Лика каждый

раз удивлялась:

– Ты-то зачем выгребашься в такую рань? Тебе ж сегодня к одиннадцати...

– С Нинкой не хочу пересекаться. Она вздумала меня по утрам овсянкой пичкать, – отшучивался Андрей и, лукаво прищурившись, вопрошал: – А ты думала, я специально тащусь тебя провожать ради твоих прекрасных глаз? Какая самонадеянность, ма шер!!

– Не-а, я думала, ты боишься один через парк идти, хочешь, чтоб я тебя, в случае чего, от хулиганов отбила, – парировала Лика.

– Не без того, – с комической серьезностью кивал он. – Рука-то у тебя тяжелая, мне ли не знать.

Он дергал ее за рукав куртки, заставляя остановиться, разворачивал к себе и сильнее натягивал на уши вязаную шапочку.

– Смотри, уши продует, возись потом с тобой!

В дни сессии, когда Лика целыми днями просиживала над учебниками, Андрей, возвратившись с учебы, непременно просовывал голову в ее комнату, хмыкал, подходил к столу и насильно вырывал из ее рук книгу.

– Так, что это у нас? Угу, английский. А ну-ка, расскажи мне, – он наугад открывал страницу, вчитывался в заголовок текста. – Расскажи про вооруженные конфликты на Ближнем Востоке за последние десять лет.

Важно кивая, выслушивал Ликин ответ, захлопывал книжку и сдергивал ее со стула:

– Кончай зубрить, мать, ты все знаешь. Рванули на озеро купаться, пока не стемнело, а то ты от науки уже позеленела совсем.

Иногда он пропадал на несколько дней, не являлся ночевать. И Лика, обнаружив вечером, что в комнате его темно и пусто, чувствовала, как что-то неприятно колет внутри. Когда же Андрей возвращался, она вышучивала его особенно ядовито.

– Кого на этот раз покорили, благородный дон? Дай угадаю. Муж очередной санитарки в командировку уехал?

– Это все грехи молодости, дорогая моя, – томно отмахивался Андрей. – Вот повзрослею, остепенюсь, заведу жену – и прощай, все прелестные санитарки мира.

– Жену? Это кого же? – хохотала Лика.

– Да вот хоть бы и тебя. – Андрей смеялся, но где-то в глубине глаз, на самом дне, брезжило, как казалось Лике, что-то серьезное, что-то, что одновременно пугало и странно волновало ее.

– Меня? – закатывала глаза она. – Это еще зачем? Думаешь, я, как верная супруга, буду тебе каждый день халат гладить?

– Ну нет, – фыркал Андрей, – доверить мой халат твоим кривым ручонкам – никогда!

Спокойное дружелюбие и непрошибаемый оптимизм Андрея покорили даже подозрительную, как разведчик во вражеском стане, Нину Федоровну. Продмагша обрушила на постояльца лавину своей хлопотливой заботы – пичкала его полезными продуктами, советовала теплее одеваться, следила, чтобы тот не проспал на учебу. И, стоило ей остаться наедине с внучкой, принималась зудеть:

– Что ж ты, растяпа, ушами хлопаешь? Такой парень, а? Плечи богатырские какие, а глазищи-то синие! И ведь воспитанный какой, вежливый, внимательный. Другая б на твоём месте уж не упустила случая, а ты на него и не глядишь...

– Я гляжу, бабуль, – отшучивалась Лика. – Я во все глаза гляжу. Особенно когда он твои пельмени уплетает. Куда нам с тобой такой прожорливый?

– Глядит она, – с досадой отмахивалась Нинка. – Мимо ты глядишь, вот что!

Нина Федоровна и не подозревала, насколько права она была. Откуда ей было знать, что, несмотря на три промелькнувших года, Лика до сих пор в ужасе подскакивала ночью на постели, стоило ей увидеть во сне занесенный снегом двор и темную фигуру на крыльце приземистого, покосившегося домика. Слишком сильно обожглась она тогда, слишком свежо еще было воспоминание о Никите, да что там, она до сих пор его любила и цеплялась за эту любовь, будто каждый раз самой себе доказывая, что она – изгой и никому никогда

не будет нужна. Особенно молодому, талантливому, здоровому парню. Разумеется, в сторону Андрея она не смотрела и не могла помыслить в отношении его ничего личностно-романтического. Круг замкнулся. Лика выбрала одиночество.

На третьем курсе, зимой, Лика свалилась с ангиной. Лежала дома, маясь от температуры, пыталась читать толстый учебник по экономике развивающихся стран. Но буквы не желали слушаться, расползались со страниц, как диковинные многоногие насекомые.

Нинки не было дома – позвонила какая-то бывшая продамаговская подружка, сообщила, что в универмаге «выбросили» польские сапоги, и бабка, кряхтя и охая, собралась в дальний путь, на охоту за модной обувью.

Лика пила оставленный ей на тумбочке у кровати клюквенный морс, изредка проваливаясь в жаркое забытие.

В прихожей стукнула дверь, полетели на пол ботинки. «Андрей пришел с занятий», – поняла девушка, прислушиваясь к знакомым звукам. А вот и он, собственной персоной, заглянул в комнату, покачал головой, присел на краешек Ликиной кровати.

– Совсем расклеилась? – спросил с сочувствием.

– Ничего, мой генерал, я не сдамся! – едва слышно прошепестела Лика запекшимися губами.

Андрей положил ей на лоб широкую ладонь. Прохладная,

с мороза, она так приятно студила пылающую голову. И пахло от нее так знакомо – свежестью, чистой водой и мылом, – так всегда пахли руки докторов в детстве. Лица невольно чуть подняла голову, плотнее прижалась к его ладони.

– Тридцать восемь и пять, – почему-то очень тихо произнес Андрей.

И вдруг, сильнее наклонившись, коснулся ее лба губами. Легкое прикосновение словно оставило ожог на и без того пылающей голове. Дыхание сбилось, и Лица на мгновение замерла, оцепенела. Губы Андрея скользнули ниже, к виску, щеке, сильные руки сжали ее плечи, пальцы коснулись шеи. Ошеломленная, выбитая из колеи, Лица лишь прерывисто дышала, не отталкивая его, но и не отвечая на поцелуи.

До сих пор ее лица, губ касался только Никита. Она хорошо помнила охватывавший ее тогда, сжимавший горло восторг, пьянящую волну, опрокидывавшую, сбивавшую с ног. И вместе с тем всколыхнулась память о боли, почти физической, невыносимой, испарившей внутренности, выдергивавшей наружу душу. И все ее тело напряглось, скованное паническим ужасом, страхом перед раз уже испытанной болью. И в голове застучало: беги, спасайся, делай все, что угодно, только бы не переживать этот кошмар снова.

И Лица, почти не соображая, что делает, движимая инстинктом самосохранения, резко вырвалась, судорожно всхлипывая, с силой оттолкнула Андрея, отшатнулась в сторону и принялась лихорадочно тереть ладонью губы. Он мед-

ленно, как-то криво усмехнулся и поднялся на ноги.

– Прости, прости, ради бога, я... – смешалась Лика.

Сжала руками голову, спрятала лицо в ладонях, пытаюсь подобрать слова, чтобы объяснить Андрею эту ее паническую реакцию, попросить не портить ничего, оставить, как есть. Почувствовала, как плеча касается ладонь, со страхом подняла глаза. Он улыбался, как обычно, открыто и чуть насмешливо.

– Виноват, больная, издержки профессии. Говорят, врачи – самый аморальный народ.

Горло неожиданно сжалось, едкая обида защипала веки. Для него это, значит, обычное дело, перепутал ее с одной из своих санитарок и медсестричек. А она-то распереживалась, испугалась, что в ее жизнь снова ворвется что-то неуправляемое.

Лика заставила себя лукаво усмехнуться:

– Понимаю, профессиональная деформация. Но хотя бы дома-то держите себя в руках, дорогой эскулап.

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.